

Николай
Доможаков



В далеком
аале

Роман

Перевод с хакасского
Геннадия Сысолятина

«Современник»
Москва 1974

Об авторе этой книги

Он из тех писателей, что уступают в литературу медленным, тягучим шагом, каким продираются сквозь цепкую траву пешие чабаны. Доможакову хотелось бы взлететь в седло, ударить в бока горячего коня и проскакать наметом по родной, усеянной каменными глыбами хакасской степи. Но не хватало... коня. А пешего подстерегало множество препятствий. Так было в его пастушеском детстве, так стало — аллегорически, — когда он возмужал и завладела им тяга к литературному творчеству.

Надо вспомнить те годы, когда в правители России, только-только свергнувшей царя, уже метил ставленник Антанты, сибирский «самодержец» Колчак. И слухи, слухи... Призывы к бунтам, к восстанию. Против кого? Неясно. За самостоятельность? Какую? Непонятно. С Советской властью или против нее? Русские — братья? Или враги? Гремят шаманские бубны, витийствуют какие-то приезжие. Легко ли во всем этом разобраться? Особенно мальчишке, не понимающему русских слов, отец которого,

мобилизованный в колчаковскую трудовую армию, погиб неведомо где, а мать из последних сил работает на баев, мнет для них овчины, валяет кошму, шьет им шубы и маймахи — мягкие сапоги. Забота одна: только бы спасти детей от голода. Вон у Николая шею раздуло золотухой и слепнут глаза.

Николай пошел в школу, когда ему исполнилось двенадцать лет (родился 20 января 1916 года). Уже не стало баев. В родном аале Хызыл Хаџ, как и повсюду, образовался колхоз. Нелегкой была борьба бедноты с богатеями. Это запомнилось. Запомнилось и другое: за плечами только три класса, а колхоз командирует его в Минусинский педагогический техникум. Командирует Советская власть! Учиться и учиться!

И ясным становится многое, прежде затянутое туманом злых наветов. Русские — настоящие братья, добрые друзья. Вскипает гнев при мысли, что белогвардейские банды, полосовавшие народ шомполами, грабившие его, тоже именовали себя русскими. Ах, как близки теперь слова: пролетарский интернационализм! Об этом надо громко говорить. Писать стихи!

Писать стихи... Но нет письменности, нет грамматики, а без этого не создать и родной хакасской литературы. Правда, есть великолепные знатоки фольклора: Балтыжаков, Манаргин, Коков, Аршанов, — но все они самоучки. Их опыт и знания нуждаются в научных обобщениях. Значит, идти в литературу — идти в науку.

Пятнадцать лет с той поры понадобилось Н. Доможакову, чтобы преодолеть путь от ученика начальной школы до ученой степени кандидата филологических наук. Путь быстрый и в то же время медленный, потому что он пересекался тяжелыми болезнями. А еще — многие общественные и партийные обязанности, без которых немислимы «должность» поэта и работа по созданию Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, авторская работа над грамматикой и другими учебниками.

И в поэзию Н. Доможаков вступал медленным, но верным шагом. Его перу принадлежат сборники «Стихотворения» (1948), «Улусы поют» (1951), «Течет река Абакан» (1957) и «Приглашение» (1966), россыпь отдельных стихотворений, напечатанных в различных газетах и журналах, да многочисленные переводы классики и поэзии народов СССР.

И вот мы знакомимся с Николаем Георгиевичем Доможаковым как с автором большого прозаического произведения. «В далеком аале» — первый роман, написанный на хакасском языке. Вполне естественно, что в этом своем произведении Н. Доможаков обращается к важнейшему рубежу истории Хакассии — становлению Советской власти, поре, когда еще не замолкли отзвуки гражданской войны и действуют темные силы, подло играющие на чувствах пробуждающегося национального самосознания. Ведь это и его собственная молодость, это и решающий перелом в жизни его народа.

Но роман не автобиографичен. Автор типизирует в нем события и героев с позиций интернационалиста, радующегося победе ленинских идей. Роман написан сжато, с первых страниц приковывая к себе внимание стремительным развитием сюжетных линий, превосходными, впаянными в действие картинами природы, быта, яркими характерами.

Мы встретим здесь гостеприимную семью старого пастуха Хоортая, ничуть не похожего на традиционных «литературных дедов». И семью русского кузнеца Федора Полынцева, всегда готового помочь товарищу в беде. Дружба этих семей символична. Она скреплена интересами двух народов, вместе строящих новую жизнь. Перед лицом такой дружбы жалки — и страшны! — злодейства кулацкого сына Тойона, волчья хватка Пичона Почкаева, ловко пробравшегося на пост председателя аалсовета и видящего себя в кресле президента отделенной Хакассии, опекаемой зарубежными покровителями. Гибнет от руки Тойона душевно открытая Зойка — «жаворонок», дочка Полынцева, искалечена ее подружка Таанах. Больно читать. Однако сам

Хоортай, его сын Сагдай и внук, отчаянный Сабис, — вместе с Федором Полынцевым...

Но зачем заранее пересказывать содержание романа и этим ослаблять интерес к его чтению. Добавлю только, что перевод Г. Сысолятина, емкий и выразительный, помогает читателю глубже усвоить национальный колорит своеобразного письма Н. Доможакова.

Сергей САПТАКОВ

Глааа 1

Кони в страхе бежали. Их гулкий топот был слышен далеко по воздуху, а еще дальше и шире он раскатывался по телу степи — по земле. Косяки, которые паслись у подножья Хуу-Хыр, первые уловили тревогу. Их вожаки — серые, вороные, гнедые и каурые жеребцы — разом втянули воздух, наострили уши и, заслыша далекое ржание, сами тревожно заржали. Опасность! Опасность!

Что же произошло в степи? Что встревожило мирные табуны?

— Эй, ты! Ну, каков Соловый тай — резвый, нет?

С этими словами Тойон подъехал сзади к Сабису, задремавшему на коне, потянулся к крупу Солового и сунул ему под репицу колючую ветку караганы.

Соловый был еще довольно диким трехлетком. Он взвился на дыбы, прынул вперед и вбок, сделал

несколько свечек и приурезал вмах к косяку, пасшемуся на склоне ближней сопки.

«Что это?» — очнулся Сабис, чувствуя, как слетает с коня. Он не успел ухватиться за поводья. Правой ногой больно ударился о железный выгиб седельной луки, левая нога не высвободилась из стремени. Небо и степь крутанулись в глазах волчком. Сабис ударился головой о землю.

— Ху-ух! — крикнул вдогонку Тойон, и конь наддал еще пуще. Тойон повернул свою лошадь в другую сторону. Скоро он скрылся.

Первым заметил мчащегося Солового гнедой вожак, что пасся на высоком кургане, откуда вся степь была на виду. Время от времени он поднимал морду, втягивая гривастую шею и замирал, вслушиваясь. Случалось, что вожак предупреждал о появлении волков. Тогда взрослые лошади сгруживались вокруг жеребят, и волки не отваживались нападать на косяк.

На этот раз Гнедой не стал сбивать лошадей в круг голова к голове, не заставлял их повертываться крупами к врагу.

Отрывистым ржанием он предупредил косяк о приближении чужого оседланного коня. Однако и самого вожака и других лошадей охватил страх — их сородич волочил за собой человека.

Кони забеспокоились.

Весь косяк метнулся прочь.

Соловый проскакал через низкий курган. Маймах сорвался с ноги Сабиса и остался в стремени.

По всей долине кони пугливо озирались и всхрапывали. Ринулся вперед еще один косяк, потом еще один... Задрожали кусты чия и солончаковой травы, за клубились вихри, поднятые копытами. В движение пришли теперь все десять косяков. Кони неслись, готовые смять, растоптать все

на своем пути. Степь гнулась под этим грохочущим живым обвалом...

После ночи, проведенной в седле, Сагдай решил дать отдых и себе и своему Буланому. Он расседлал, стреножил коня и пустил его пастись в долине, а сам устроился на холме, откуда видно было все пастбище. Пригрело Сагдая солнце — уснул на пропахшей острым конским потом кошме, положив голову на седельную подушечку. Лицо его отливало бронзой. Выдавшиеся скулы обрамляла жидкая черная борода, с ней сливались кончики редких усов. Ветерок шевелил неровно подстриженные черные волосы на макушке табунщика, раздувал пузырем его неподпоясанную сборчатую рубашку из красного ситца. Ситец выпвел и побурел. На плечах рубашки нашиты синие полосы, — не заплаты, а украшение. Оплечья тоже выгорели. Ноги в залосненных о седло штанах из сыромятной кожи и таких же сыромятных маймахах. Руки Сагдая, узловатые, жилистые, закинута за голову, словно тянутся к брошенному позади волосяному аркану, свернутому кольцами.

Вдруг Сагдай услышал сквозь сон как бы раскаты грома. «Солнце и гром?» — недоумевал табунщик. Но не открыл глаз: косяки пасутся поблизости, и зоркий Сабис (у сына отцовский взгляд!) следит за ними.

Неизвестно сколько бы времени еще проспал Сагдай, если бы над его головой не щелкнул кнут. Сагдай вскочил, не успев как следует разлепить веки и прийти в себя.

На кургане крутился всадник:

— Где табун, дармод? Спишь?! Ну, погоди!

Сагдай оглянулся. Над тем местом, где он остановил табун, стеной стояла черная пыль. Что

такое? Он озибался во все стороны, но нигде не видел лошадей.

— Тойон... Почему ушел табун? — растерянно бормотал Сагдай. Он вскинул на Буланого седло.

Но Тойон уже мчался туда, где девушки-батарачки пасли Хапыновых овец. Где табун? Где Сабис?..

Солнце греет по-прежнему, но Сагдаю становится холодно.

Он видит беркутов над степью. Стая их с криком летит за гору Хуу-Хыр. А ведь каждый пастух знает, что беркуты рады беде.

Конь под ним уже втянулся в бег. Можно прибавить ходу! Сагдай взмахнул камчой.

Он ехал по свежестоптанному склону. Широкая, выбитая тысячами копыт полоса походила на русло реки. Впереди оседала клубящаяся пыль. «Что там за ней? Что за ней?» — билось в голове Сагдая...

Глава 2

— Но-о, Бурка, но-о, миляга! — негромко понукал хозяин.

Лошадь и ухом не вела. Колеи тянули Бурку за собой, как два аркана. Еще на рассвете, после ночлега у речки, заросшей топольником, Бурку обрядили в сбрую и впрягли в телегу. С того часа она и трет бока об оглобли. Ее стегают конопляными вожжами, и от них на крупе остаются темные полосы. На крутых спусках телега сама толкает ее вперед, так что хомут налезает на уши, а ремень шлеи впивается в бедра.

Солнце перевалило за полуденную черту, но хозяин не дает Бурке передохнуть. Хоть бы ветерок набежал да обдул обмылье с Буркиных боков...

— Ма-ам, воды-ы!

— Потерпи, потерпи, доченька. Воды у нас на донышке, а путь не близкий... Говорила тебе, Федор, давай остановимся, наберем воды.

Федор наклоняется к дочке и шутливо щекочет ей шею окладистой рыжей бородой. Зойка, которая обычно в таких случаях хохочет и взвизгивает, на этот раз невесела:

— Хоть плоток, тятя.

Федор оборачивается к жене.

— Ладно, Варя, — трогает он ее за локоть. — Может, скоро где и попадется ручей...

Девочка, худенькая, белокурая, кривит запекшийся рот. Варя хочет чем-нибудь отвлечь Зойку, чтобы она хоть на несколько минут забыла о жажде.

— Во-он, Зойка, сколь беркутов... Ишь, прыгают, — показывает она.

Федор глядит туда же.

— Тр-р-р! — натянул он вожжи.

Приложив ладонь к бровям, Федор пытался что-то разглядеть там, где по торцам ушедших в землю камней угадывался небольшой курган.

На кургане что-то темнело. А еще Федор увидел большую пеструю собаку. Когда беркуты бросались вперед, собака делала прыжок и отпугивала их.

Оцепенело следили Федор, Варвара и Зойка за тем, что происходило на кургане. Вот хищники снова вступили в схватку с собакой, увертываются, мелькают, как темные лоскутья. Одна из птиц вцепилась в собаку когтями и теперь не может их высвободить. А в это время другой беркут взлетел на темнеющий бугорок, откинул голову и с размаху долбанул клювом. Взметнулось и упало что-то тонкое, слабое. Рука? Птица отскочила прочь.

А потом все беркуты, с клетотом и хлопаньем крыльев, бросились вперед. И тут грохнул выст-

рел. Федор быстро повернул лошадь и направил ее к кургану. Под железными ободьями колес заскрипели, уминаясь, осколки выветренных курганных плит. Еще немного — и с телеги увидели: на кургане неподвижно лежал юноша, почти мальчик. Федор и Варвара кинулись к нему.

Навстречу бросилась собака. Она хрипло лаяла, кружась и хватая себя за бедро, с которого свисал задавленный беркут, оставивший когти в ее шкуре.

Варвара подняла голову паренька, слегка повернула: скулы в ссадинах и кровоподтеках, губы почернели, волосы слиплись от крови, склеились с землей. На правой ноге старый, мягкий, без каблука маймах, левая — босая — вся потемнела и вздулась.

Федор опустился на корточки возле юноши и приложил ладонь к его груди.

— Теплый еще, — шепотом сказал он жене. — А в лице ни кровинки.

Кругом валялось много перьев, женщина подобрала одно и поднесла к ноздрям паренька. Ворсинки на перышке заколебались.

— Федя, он дышит! Там, на телеге, бутылка... Разжимай ему зубы.

От воды ресницы парня дрогнули, шевельнулись губы. Левый здоровый глаз его был широко открыт.

— Кто ты? Откуда взялся? — спросил Федор, тоже наклоняясь к парню. — Из какого ты улуса, далеко ли до него?

Телега была завалена домашним скарбом, и Варя стала торопливо его отодвигать, освобождая место. Она сорвала с себя косынку, разорвала на полоски и принялась бинтовать парня. Потом Федор легко поднял паренька и отнес на телегу. Зойка примостила ему под голову старенькое пальтиш-

ко. Варя кое-как собрала волосы, воткнула гребенку.

И в этот миг из-за бугра вылетел верховой. Собака сделала навстречу ему такой яростный бросок, что мертвый беркут наконец оторвался от нее. Но всадник, взмахнув длинным бичом, не подпустил собаку к своей лошади.

Федор и Варвара молча глядели на него. Откуда он? Что ему нужно? Или он знает «найденыша», сам разыскивает его? Похоже, что и так. И тот и другой — степняки, хакасы. Может, верховой скажет, куда отвезти подобранного парня, кому его передать?

Бурка доверчиво заржала и потянулась к чужой лошади, но та, избочившись, куснула ее. Бурка шарахнулась в оглоблях, Федор дернул за вожжи, осадил ее.

— Эй, ты! — крикнул он на парня. — Держи своего!

— Парень наш зачем калечил? — спросил всадник.

— Што-о? — сдвинул брови Федор.

— Худо делал... Табунщикам конь пугал... Тебя тюрьма садить надо... — И, мгновенно поверотив свою дикарку, всадник пустил ее в галоп. Пестрый, заливаясь лаем, бросился в погоню.

— Ну и ну! — покачал головой Федор. И растерянно поглядел на жену.

— Поедем, тятя, — жалобно попросила Зойка. — Я пить хочу...

— Сейчас, доченька. Вот только место это замечу. На всякий случай...

Еще утром он вырубил две рогульки и жердочку для каганка. Сейчас он вбил их у дороги, там, откуда телега в первый раз своротила к кургану, и там, где она опять выкатила на дорогу. На тра-

ве, побелевшей на солнце, оба эти сворота выделялись четко.

Снова по однообразной всхолмленной степи ползет одинокий воз, поскрипывает телега, пофыркивает Бурка. Уже не видно ни колышков, ни самого кургана, только клекот еще кружащих там птиц доносится до Федора. Около телеги опять появился Пестрый. Волоча лапу и облизывая бок, пес побежал рядом.

Час от часу все жарче. В воздухе колеблется марево, оно похоже на легкий пар, что поднимается из огромного закипающего котла. Края котла — зубчаты, сини. Это хребты Саяна и Алатау, окаймившие степь полукружьем. А внутри этого котла раскаленными кажутся древние надмогильные камни из красного песчаника. Облака над степью и те в рыжих подпалинах от зноя. Белеет солончаковая корка на месте высохших озерц. Потрескивает, высыхая, ковыль. Не видно даже сусликов.

У одной из развилок дороги Пестрый забеспокоился, вымахнул вперед и побежал, то и дело оглядываясь на телегу. «Кажет дорогу, — догадался Федор Павлович. — Не иначе, там где-то у них улус... Поедем следом, будь что будет...»

— Ма-ма, водички!

— Скоро, скоро, доченька, будет водичка. Там, за бугром, увидишь речку, — обещает Варвара.

— Вот за этим большим, мама?

— Ну, может, и подальше. А вон... смотри-ка... вон над тобой жаворонок.

Зойка запрокидывает головку. Жаворонок трепыхает крылышками, будто трясет бубенчиками. Вот он застыл на одном месте. Как он там держится — на волосинку, что ли, кто тебя привязал?

«Тюрр, тюрр, фить-фить», — несется с неба.

Жаворонок тоже высматривает ручей, думает Зойка. А волосинка, наверно, растягивается.

Ишь, птичка то спустится вниз, то снова поднимется. И качается, качается там. Кто-то невидимый дернул за волосинку, и птичка перевернулась. Золотом блеснула грудка. А крылышки-бубенчики все звенят: «Тюрр, тюрр, фить-фить». Не увидела, значит, птичка ручейка. У Зойки все горит внутри. Скоро она совсем ослабела, сонливость на нее навалилась. Ее уложили рядом с «найденным».

Федор идет, держась за телегу, и угрюмо молчит. Рубаха его взмокла от пота, рыжая борода в потеках.

«Не мажет быть, чтобы собака обманула. Где-то в этих местах я сам видел речку, когда ездил по улусам». Видит Федор: Варвару тоже сморило, но крепится она, достала светлое рядно, над Зойкой держит, от жары бережет.

Когда солнце начало клониться к горизонту, перед подводой, почти касаясь травы, вдруг стремительно пронеслись два юрких стрижа с крылышками, похожими на ножницы.словно подскочило в груди у Федора сердце — где стрижи, там вода. Он принялся понукать Бурку.

Пестрый, ускакавший вперед, скоро вернулся обратно. Он встряхнулся, и с шерсти посыпались светлые бисеринки.

— Вода! Зойка, слышь-ко! Водички сейчас попьешь...

Девочка открыла глаза и вскочила, оглядываясь, где же вода.

Подъехали к степной речушке. Неширокая полоска воды, вобравшая в себя синь неба, блестела между мшистых берегов. В речке мыла зеленые космы осока, высывались шильца молодого камыша, веточки водяных растений, облепленные воздушными пузырьками. В глазах рябило от движения быстрых струй.



Зойка подбежала к воде и опустилась на колени.

— Не пей сразу много, дочка! — предостерегает Зойку отец, однако сам пьет воду жадно.

Варвара, утолив жажду, намочила в речке свой платок, положила его на лоб. Потом, зачерпнув воды в берестяной туюсок, она влила парню в рот. Тот простонал.

— Не пугайся, родимый. Доведем тебя до какого ни на есть улуса.

— Хайда Сары? Сары!..¹ — Он застонал и опустил веко, словно загородился им от чужих.

Бросившись к воде, Федор забыл про Бурку. Она сама приблизилась к воде. Не беда, что не отпущен чересседельник и нельзя дотянуться до воды. Бурка упала на колени, пофыркала на воду, будто раздувая по сторонам невидимые соринки, и надолго погрузила в воду мягкие губы.

Варвара достала из поклажи горшки, туюски, чайник, развязала узел с едой. И пока ели, все время оглядывались на телегу, где лежал раненый. Что бы значило это «Сары»? Может, название улуса?

...Поели и снова в путь.

Теперь дорога стала торнее. Она вела к подножию одинокого кургана. Чем ближе Федор подъезжал к нему, тем больше ему казалось: будто кто-то приподнимает этот крутой холм снизу. Холм походил на круглую монгольскую шапку. Оторочкой ее служили жесткие пучки чия, разросшегося вокруг. Схожесть усиливал вросший в курган высокий изогнутый камень с полустершимися письменами. Когда подъехали совсем близко, Зойка вскрикнула: «Ой, тятя!» С камня глядело грубо высеченное лицо. Широкие скулы, узкие глаза,

¹ Где Соловый?

вместо рта углубление. В закатном свете один бок кургана пылал, другой темнел. Слепые глаза извращения были устремлены в степь.

От кургана дорога потянулась на юго-запад, по взгорью, затем стала сбегать вниз, к излучине той же речушки. Вода темнела у берегов, под густым тальником стало прохладнее.

Скоро путники въехали в селение и остановились возле первых дощатых ворот. Темнеющий дом, окруженный плотной изгородью, неприветливо молчал. Федор решил постучать: есть ли тут фельдшер и где можно переночевать.

Вдруг на улице появились два всадника.

— Мына, мына, Ойкан!¹ — кричал один из них другому, указывая на телегу. Голос был знакомый. «Тот верховой, что давеча у кургана...» — догадался Федор. Он спрыгнул с телеги.

— Сдавайся, орыс... Бандит, айна!

Один из верховых заехал вперед, схватился за уздечку и потянул Бурку за собой, второй ударил ее кнутом.

— Эй, вы, как вас там! У меня в телеге раненый... Рехнулись вы, что ли? — крикнул Федор. Но телега уже катилась куда-то в темноту. Испуганно заплакала Зойка, что-то кричала Варвара.

Федор, чертыхаясь, побежал за телегой.

«Отбить Сабиса у проезжих, не дать мальчишке проговориться в аале!» Эта мысль обожгла Тойона. Уговорить Сабиса, чтобы он свалил все на русских! Пообещать ему что-нибудь. Согласится — тогда сбегутся аалыцы, пикнуть рыжему не дадут. Закон степи...

Далеко обогнув дорогу, по которой ехал воз, примчался Тойон в аал, но около своей ограды с коня не слез, направился к аалсовету. «Дядя Пичон

¹ Вот, вот они, Ойкан!

поможет», — подумал он о председателе. Но аалсовет оказался закрытым на замок, на крылечке сидел исполнитель Ойкан. Тойон подозвал его поближе, и скоро они подкараулили въезжающую в аал русскую семью.

— Стой, Ойкан. Уведи моего коня, дальше я сам... — Тойон натянул поводья, высвободил ноги из стремян. И вот он уже сидит в телеге, держит вожжи. Аал остался позади...

В кустах, у излучины Чобата, он остановил Бурку и стал тормозить Сабиса.

— Эй, Сабис, ты слышишь меня? Если спросят, как ты зашибся, скажи... Эй!

Он и приподнимал Сабиса, и поворачивал его на бок, пытался даже посадить. Но Сабис безжизненно валился в телегу. Тойон выругался.

Бросив Бурку в телегу и Сабиса на ней, Тойон угрюмо побрел от реки, в конце дуга наткнулся на небольшую копну и повалился на нее.

Едва начало отбеливать на востоке небо, Тойон был уже на ногах. Кляча, видать, совсем заморилась вчера и стояла в нескольких шагах от того места, где ее оставили.

Тойон опять затормозил Сабиса. Но тот по-прежнему был в беспамятстве.

«Скоро утро. Надо что-то делать...»

Тойон потянул за вожжи. «Только не к Хоортаю. Привязчивый старик, допытываться начнет...»

Боязливо озираясь, он повез Сабиса в аалсовет.

Глава 3

В стороне от степного большака круто опускается к речке Чобат плоскогорье. Место это носит название Чалбах-тигей — Широкая вершина. Там, где плоскогорье переходит в долину, выбрали место для селения оседлые хакасы.

Посмотришь из аала на Чобат, и кажется, что это не речка, а распушенный волосяной аркан, свитый из светлых и темных пучков: он и блестит серебристыми перекатами, и темнеет глубокими омутами, ушедшими под высокие яры. Длиннен путь Чобата к большой реке Ахбану. Начинается он с зеленокудрых таежных гор — тасхылов, откуда Чобат спрыгивает, как дикий конь. Но чего не могут сделать с ним горы, делают степи. На равнине Чобат меняет свой нрав. Течение его становится медлительнее, и теперь он уже напоминает ленивую лошадь, которую все время нужно подстегивать.

Подстегивают Чобат паводки. По веснам речка, вспухая от талых вод, посланных тасхылами, приносит и радость, и горе. Чобат становится настолько щедрым, что заполняет водой каждый оросительный канал. Перехлестнув через берега, он накатывается на пастбища и сенокосы, заливая их, а отхлынув, оставляет ил, гальку, коряги и разный мусор. Низины превращаются в топкие болотины, где вязнет скот, в круглые, оправленные осокой и камышами озера, где скапливаются тучи маляринного комара. Насыщая степь, Чобат отбирает ее у скотоводов и земледельцев — ведь самая жирная земля и самый сочный травостой в низинах. Однако плохо и без Чобата, без его разливов, потому что иначе и хлеба, и травы стубит засуха. Хорошей дружбы с Чобатом не получается.

А сколько побоищ происходит на берегах Чобата веснами, когда надобно пускать воду по канавам на поля! Аал поднимается на аал. Чаше всего схватываются у распределительных перемычек, перегораживающих канавы. Верхние аалы стараются захватить больше воды себе, нижние им не уступают.

Но теперь, в знойные летние дни, Чобат благо-

душен, умиротворен. Где-то он и ярится еще, и крутит воду воронками, но таких мест немного.

Аал над Чобатом приклеился к горе, как ласточкино гнездо. Но что рассмотришь в нем ночью? Да и не до того сейчас Федору. Верховые угоняют подводу с Варей и Зойкой куда-то во мглу улицы. Справа и слева неровными зубцами чернеют избы, юрты. Впереди стукотят колеса телеги, лают собаки. Улица кривая, узкая, и Федор натывается то на изгороди, то на кусты бурьяна. А за поворотом он оступился и угодил в канаву, полную воды. Федор отстал, пока выбирался, потом хрипло помянул бога и пустился дальше.

— Варя-я! Я догоню, — кричал он.

Первой же мыслью Вари было — соскочить с телеги.

Она обхватила одной рукой Зойку, другой сильно оттолкнулась, и обе кувыркнулись на обочину дороги. Варя ушибла колено, но девочка была невредима — упала на нее. То ли всадники в темноте сразу не заметили их бегства, то ли им нужны были не сами проезжающие, а их пожитки, но телега не остановилась.

Еще не чувствуя боли, Варя поднялась, крепко прижала к себе дрожащую, всхлипывающую Зойку и в тревоге стала звать мужа:

— Федор, Фе-до-ор! Где ты?!

— Здесь... здесь я! — отозвался Федор. Варя шагнула ему навстречу. — А телегу угнали? Может, они еще недалеко...

Федор рванулся вперед, но тут же остановился. Он нашел бы в себе силы догнать телегу, у него хватило бы голоса кричать, звать на помощь — не вымерло же селение. Но как оставишь в незнакомом месте жену и дочь! Федор растерянно глядел на сереющие во мраке строения, на дорогу. Что теперь делать?..

По небу прокатывались сполохи, и в их коротком и неверном свечении дома, юрты, заборы казались ненастоящими.

Призрачная сторбленная фигура приблизилась к ним.

— Кем нер? — произнес человек. Голос его старчески дребезжал.

— Понимаешь, дедушка, ехали мы в Бондаревку, — заговорил Федор. — Родня, знакомые там. Сам я кузнец, работу ищу. Коней ковать, шины делать, лемех у плуга оттянуть — все это могу... Вот... — Он зачем-то показал старику свои крупные руки. — Оставили Минусинск, поехали. А дело дорожное, всякое может случиться. У нас вышло — хуже некуда. Двое верховых угнали нашего коня с телегой...

— Мама, мне холодно, — пожаловалась Зойка.

Голос ребенка окончательно успокоил старика.

— Юртам надо, — сказал он. — Юрта огонь, тепло. За мной ходить...

Через некоторое время старик подвел ночных гостей к невзрачному приземистому круглому строению возле вросшей в землю избы и, коснувшись палкой порога, попросил их войти внутрь.

Варвара впервые очутилась в хакасской юрте. Все ей было в диковину. Круглое помещение не имело окон, в самом верху сведенной конусом крыши было проделано отверстие для дыма. Под ним на земляном полу был устроен грубый кирпичный очаг, в котором, чадя, горели коровьи кизяки. К одной стене была приставлена низкая лежанка, застланная овчинами, к другой — деревянный ларь, к третьей — ящик, обитый полосками жести. Четвертую стенку занимали полки с деревянными блюдами и корытцами, мельницей для муки, глиняными горшками, кринками, чашками. С пятой стенки глядели две потемневшие иконы, а на ше-

стой висели хомут, волосяной аркан и пастушеский бич. Пахло кизячным дымом, сыромятной кожей, овчинами. Но все перебивал запах кислого молока, квасившегося тут же, в большой кадке.

Зойка, перестав хныкать, тоже с удивлением оглядывала убранство непонятного домика. Ей казалось, что она попала в терем-теремок.

Старик подживил огонь. Сухие дрова весело затрещали, и над очагом заметалось пламя. Дым привычно потянулся к отверстию в крыше.

При свете старик оказался худеньким, тщедушным, но бодрым. Задубелая бронзовая морщинистая кожа обтягивала его широкие скулы, вислые веки полузакрывали глаза, но когда старик поднимал их, зрачки в узких щелочках блестели живыми черными угольками. Волосы старика, напомиавшие копну, были с проседью. Такими же были его усы и борода.

Старик назвалсЯ Хоортаем.

— А меня кличут Федором Павловичем. Фамилия Полынцев. Вот моя жена — Варвара Петровна, а это наша дочка — Зоя —

Старик одобрительно кивнул.

Примостившись на корточках перед очагом, Хоортай поставил на горячие камни закоптелый чугунный чайник, который вскоре забулькал, запарил, и в юрте к запаху смолистого дымка добавился новый, терпковатый, сладкий запах заваренного шиповника.

Старик колдовал у очага, выдвигал низкий столик, готовил чашки, ворчал:

— Худой люди. Кругом бандит ходил, конь резал, баб таскал... Говорка слышал — русский бандит пастуха избил, мальчишкам... Какой орыс-бандит — не понимай.

Федора Павловича встревожили слова старика:

«Русские... избили». Тот на кургане тоже кричал: «Зачем избили нашего?..»

К чаю Хоортай подал пызлах¹, поставил в блюдец сметану.

Зойка ни к чему не притронулась. Мать пощупала у нее лоб — он горел.

И гость и хозяин пили чай до пота. Щеки старика залоснились, на них, казалось, меньше стало морщин. Глаза смотрели благодущнее. Федор разглядел: левый глаз Хоортая больше правого.

Отставив пустую чашку, Хоортай полез в карман за трубкой и кисетом. Трубка его была удивительной — с медной узорчатой оковкой, сделанной так правильно и тонко, что Федор Павлович, знавший толк в чеканке, удивился работе неизвестного мастера. Хоортай предложил ему покурить из трубки.

— Да я некурящий, дедушка, — улыбнулся кузнец. Но, чтобы лучше рассмотреть трубку, все-таки принял ее из рук старика, сделал вид, что затягивается.

— Хорошая трубка. Большой мастер, наверно, делал? Кто он?

— Зачем — кто? — улыбнулся в усы Хоортай. — Трубка сам делай, — и ткнул черным пальцем себе в грудь.

Кузнец еще раз похвалил трубку, и старик довольно засмеялся, обнажив зубы.

— Зачем далеко ехал? Тут жить, наш аал работай, — предложил он Федору, — наш аал дело находил...

— Нам надо в Бондаревку, — сказал Федор. — Там родня есть, товарищ есть.

— Сердце хороший — друг будет, — улыбнулся Хоортай. — Рука есть топор брал — дом

¹ Пызлах — хакасский сыр.

стал. — Хоортай притронулся к мускулистому плечу кузнеца. — О! О, сила большой.

Видя, что гости утомлены и расстроены, старик принялся расстилать на полу шкуры, на них положил черную кошму с белым узором, под головы постелил шубы, а укрыться дал овчинным покрывалом.

— Отдыхай надо, — сказал он, показывая на приготовленную постель, занявшую половину юрты. — Спи. Ночь — черный, утро — белый, все видеть... Ночь не ходи. Юртам закрывал эта палка.

— Спасибо, дедушка Хоортай. Да как-то... неплохо получается. Сам-то где будешь ночевать? — спросил кузнец, видя, что старик, взяв сверток поменьше, направился к Двери.

— Сам сарай спать... — Хоортай подал Федору крепкий засов, повернулся к стене, где стояли иконы, и пробормотал: — Осподи палгаслави.

— По-русски молишься? — удивился Федор.

— Русский бог, русский молитва, — осклабился Хоортай. — Батышка-поп учил...

Полынцевы улеглись на шубы. Зойка забылась во сне. Федору и Варваре сон не шел. В очаге погас огонь, и в дымовое отверстие стало видно темное небо. Сверху в юрту заглядывала одинокая неяркая звезда. Снаружи слышалось царапанье — кот, цепляясь когтями за выступы в стене, взбирался на крышу. Внутри юрты, близ дымового отверстия, на одной из жердочек раздавалось щебетанье встревоженных ласточек. Одна из них, сорвавшись с жердочки, принялась беспокойно летать по юрте.

— Федя, почему ты ничего не сказал старику о том парнишке? — шепотом спросила Варя.

— Я, понимаешь, совсем уж было... да потом подумал: а вдруг не поверит? Взбредет в голову,

что это мы сами ихнего паренька-то, и выгонит из юрты. Что нам с Зойкой делать? И ты зашиблась. Нет, надо переночевать, а утром пойти в сельсовет, или как он тут... аалсовет. Мальчишка конокрадам не нужен. Он уж и в себя приходить стал. Вот только кузнечный инструмент мой... Но, думаю, он тут никому не спонадобится. Бурку зарезать могут. Ладно, утро вечера мудренее...

Варя повздыхала, обняла Зойку и впала в забытье. Потом сон навалился и на Федора.

Проснулся он от тихого стука в дверь.

— Кто в юрте? Откройте, — донесся снаружи тихий голос.

Федор не отвечал.

— Есть тут кто из русских? Ваш конь и телега в аалсовете...

— Правда? — спросил Федор, приблизившись к двери. — А вы кто?

— Спите, спите, утром придете за ними. Пораньше... — За дверью слышались удаляющиеся шаги.

«Что за человек был? — думал Федор. — Говорит по-нашему вроде чисто. Кто его знает... Ладно, хоть Бурка не пропала...»

Чуть свет, шепнув полусонной жене, что Бурка нашлась, Федор вышел из юрты.

Варя бросилась догонять мужа.

Глава 4

Старый Хоортай любит ночную свежесть и сайт под открытым небом, завернувшись в нагольную шубенку, дыша запахом сухих кизяков, лежащих кучами тут же, на крыше. В эту ночь он долго ворочался с боку на бок, под ним скрипели ветхие покоробленные тесины.

Думалось ему о многом. Слух нехороший идет по избам и юртам про бандитов. Какой мальчишка-табунщик попался им? Чей он? А может, мальчишка из чужого аала? Вот внук Сабис никому бы не дался. Ездит он на первом в степи бегунце — такого коня не догонишь...

Наконец Хоортай сморил сон, и спал он, пока петух на насесте не принялся горланить в четвертой раз.

Только проснулся, только глаза протер Хоортай, а трубка уж у него в зубах, руки тянутся высечь из кремня красные искры, чтобы подожгли они сухой трут, чтобы от трута загорелась насыпка в трубке. Радуетя Хоортай солнечному восходу, приятно ему оглядывать с крыши пробуждающуюся степь. Вот солнце показало край румяной щеки, заблестели освеженные росой хлеба и травы вокруг аала. А солнце все выкатывается в небесное раздолье, распуская золотые волосы. Покойно на душе у Хоортай, мирно попыхивает дымком его трубка. Синие струйки тянутся из нее, колеблясь, и тают в утреннем воздухе. Опять голоса, надрываются петухи. Им, наверное, кажется, что это их крики разбудили солнце.

Хоортай не спешит слезать с крыши. Трубка еще не докурена, не хочется и заезжих людей будить. Там, в юрте, тишина, — значит, еще спят. Лучше он подождет тут, на крыше, вдосталь налюбуется, как солнце начинает творить день. Глядит старик на свой аал. Видят стариковские глаза далеко — и на восход, и на закат.

С восхода, у въезда в аал заблестели на солнце окна большого пятистенного дома. Широкие окна. Других таких в аале не встретишь. Еще бы! Ведь дом-то бая Хапына. Кто с ним сравняется?

А вот сюда поближе, наискосок, через дорогу, небольшой домик, Тримя новыми тесинами подпра-

вил хозяин старую крышу. «Чудак этот Апах, — думает старик, — тесины приколотил с улицы, а со двора крыша дырявая осталась».

Прямо против жилья Хоортая улочка изогнулась, по обеим сторонам ее густо разросся бурьян. А на закат от ега двора — избы, крытые дранкой. Сеней нет. Вон хозяева выходят наружу — пастух Пулат, батраки Тирнук и Такан...

Еще поворот делает улица. Там стоят избы Канон и Ойкана, а за ними виднеется крыша аалсовета. «Большой дом — аалсовет, а сидит там один человек, — приходит на ум Хоортаю. — Зачем одному такой дом?..» Старик пыхтит трубкой и продолжает наблюдать...

Вон старые гусаки и гусыни с выводками гусят, гогоча и переваливаясь, шествуют к реке, которая алеет в эту пору.

Вон во дворах замелькали разноцветные когенеки¹ и платки. Суется хозяйки возле коров. В каждом деннике струйки молока звенят о ведра. Над юртами выются голубовато-белые кизячные дымки. А вот поднялся в небо дым потемнее, что от смолевых лиственничных дров. Жарко, наверное, горят они в очагах Хапына и Аларчона; эти двое не жалеют топлива, круглый год жгут хорошие дрова...

Что-то захлопало над самой головой Хоортая. Он поднял голову и увидел застигнутую зарю сову. Увлеклась, должно быть, охотой, дотянула возвращение в лес до рассветного часа и поплатилась за это... Хоть и таращит глаза, а летит вслепую. Кувырком летит—

Однако чего это русские так долго спят? Хоортаю надо поскорей подоить и выгнать в стадо белую коровенку, а ведро в юрте. Замешкается —

¹ Когенеки — национальные платья.

старухи-сплетницы изведут: «Старик Хоортай дрыхнет, покуда все мягкие места не отлежит». Ничего не поделаешь, придется все-таки разбудить постояльцев. Но сначала он наберет топлива. Старик завозился на сарае, складывая в полу старенькой шубенки сухие кизяки. Набирал и думал: «Как мой Сабис там, в степи? Был бы он дома — заменил бы старика, угнал бы корову на выпас. И пестрого пса Чахыраха нет — увязался за Сабисом...»

Спустившись с сарая, старик услышал конский топот. Через невысокий плетень увидел — скачет к его двору сломя голову на взмыленном, коне Тойон, без шапки, волосы взлохмачены.

— В аалсовет, Хоортай-ага, — крикнул Тойон, не останавливаясь.

Старик не успел и слова вымолвить в ответ.

А крик Тойона доносился уже от других дворов:

— В аалсовет!..

Хоортай, придерживая кизяки, пошел в юрту, толкнулся в дверь, она подалась. Рыжего русского и его жены в юрте не было. На овчинах спала одна девочка. Скрип двери разбудил ее. Зойка увидела чужого старика и вспомнила, где она.

— Мама, тятя! — вертя головой, звала она.

Хоортай подошел к Зойке, положил руку ей на голову:

— Не надо плачь, хызычах¹.

Он вышел из юрты, оставив ее открытой, и зашагал в аалсовет.

Старик неуверенно поднялся на крыльцо и открыл дверь. Занес ногу на порог, и тут трубка вывалилась у него изо рта.

¹ Хызычах — девочка.

— Сабис, палам!¹ — вскрикнул Хоортай, бросаясь в комнату.

На широкой деревянной лавке лежал его внук Сабис. Он не открывал глаз, дышал тяжело. Лицо его было в синяках. В бреду он непонятно бормотал.

— Ой, палам! Ой, Сабис! — продолжал причитывать старик.

— Ох, дедушка! Так это ваш?..

Хоортай повернулся на голос. Перед ним, держа мокрое полотенце, стояла вчерашняя женщина. Ничего не понимая, он присел возле Сабиса на краешек лавки.

Варя положила на лоб Сабису мокрое полотенце, и парень успокоился.

«Зря не сказали старику... — думала она. — Теперь как объяснить?»

Хоортай увидел — внук жив. Но что с ним все-таки? А-а, вот оно!.. Вчерашний слух: «Русские бандиты...»

Он снова наклонился над внуком.

— Дедушка, не трогайте, ему лучше, — успокаивала старика Варя, а сама укоряла себя: «Ах, зачем я не то говорю...»

«Какой айна изувечил внука? — размышлял Хоортай. — Кому Сабис плохо сделал?» Густые, черные с проседью брови его задвигались, глаза стали колючими.

И тут вошел Тойон, успевший объехать весь аал.

— Хоортай-ага, там бандит, — сказал он, направляясь в кабинет председателя.

— Кто, Тойон? Кто — допытывался Хоортай.

— Вот ее муж...

¹ П а л а м — дитя.

Варя повернулась к ним, пытаясь понять, о чем говорят по-своему старик и парень.

Тойон, заметив, что она прислушивается, шепнул:

— Тохта, хатычах!¹

Он снова что-то сказал старику, усадил его на скамейку, сам вошел в кабинет.

Варя хотела поправить полотенце на лбу Сабиса, но Хоортай оттолкнул ее. Она все поняла и села на другую лавку.

«Федя, Федя, — мысленно кричала она, — не молчи там, Федя! Тебя хотят напрасно обвиновать. Это все тот, вчерашний верховой».

А там, в кабинете, куда зашел Тойон, разговаривали Федор и председатель аалсовета Пичон Почкаев. Голоса раздавались то громче, то глуше.

Пичон сидел за столом, покрытым красным сукном, Федор — против него на лавке. Пичон недовольно повернул в сторону Тойона голову с гладкими лоснящимися волосами, показал, чтобы тот плотнее прикрыл дверь. Тойон сильнее потянул за скобу, но дверь все равно отошла. Парень встал у печки, справа от председателя, прислонился к ней, грызя ногти.

Едва вошел Тойон, Федор вскочил, вытянул руку, показывая на него, но не успел выговорить ни слова. Пичон жестом вернул кузнеца на скамейку. Федор с недоумением и досадой глянул на председателя: «Что за мороку собрался разводить?»

Пичон переставил под столом короткие ноги в хромовых сапогах, навалился на столешницу, подперев пухлой рукой выбритую до синевы щеку и поблескивая ровными зубами. В правой руке он вертел карандаш, загадочно поглядывая на русско-

¹ Подожди, бабенка!

го чуть прищуренными карими глазами из-под тонких, почти прямых бровей. Нижняя губа Пичона чуть выпячивалась, и казалось, что он поддразнивает собеседника.

Ловчее пристроившись к столу, Пичон раскрыл толстую тетрадь и что-то записал. Потом опять поглядел на Федора, покачал головой.

— Вид усталый. Плохо ночевали?

— Нет, вроде. Ночевали хорошо...

— Почему вы вчера не разыскиали меня, хоть дома? Вам бы любой показал. Знаете, какое сейчас время...

Конечно, Федор знал, что хотя колчаковщину разгромили около года назад, время еще неспокойное.

— Вышло так... У нас заболела девочка — сильно перепугали ее.

Пичон сочувственно пощелкал языком и тут же, поправив рукой блестящие волосы, спросил:

— Вы знаете, кто угнал вашу подводу и... почему угнал?

Федор снова повернул голову к печке, где стоял Тойон:

— Вот он был. Он еще там, в степи, подъезжал к нам, грозился. Голос я запомнил... А второй то ли Мына какой-то, то ли Ойкан. Так этот его называл...

Губы Пичона растянулись в усмешке.

— «Мына» — это он по-хакасски на вас указывал — «Вот они!» Ойкану указывал, нарочному сельсовета. Ваш конь и телега у него под сараем.

— Видел... Но тогда... — Федор пожал плечами. — Я что-то ничего не пойму.

— Сейчас поймете, — короткие ноги Пичона запереступали под столом. — Кого вы везли на телеге?

— На возу человек был. Вот тот мальчик, что в прихожей лежит.

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.

— А еще что на телеге было? — спросил Пичон.

«Куда гнет?» — подумал Федор, но ответил:

— Все наше имущество. В Бондаревку мы ехали... Вы что так любопытствуете?.. Ну был там ящик с моими кузнечными и слесарными инструментами, одежда, книжки... Жена у меня книжница... А еще карабин мой...

— Ага, карабин, — приподнялся Пичон.

— Карабин, — в тон председателю ответил Федор. — Документ на него имею. Награда это, там на патроннике и надпись вырезана...

— Покажите документ, — потребовал Пичон.

— Документ вот. — Федор порылся в нагрудном кармане пиджака, достал бумажку с печатью.

— Дайте сюда, — протянул руку Пичон.

— Не-ет! — помотал головой Федор. — Читайте в моих руках. — Он подержал перед носом Пичона документ и снова спрятал в карман.

— Хитрый, чолчанах!¹ — сказал Пичон, не то одобрительно, не то с издевкой. — Бумагу имеете, это хорошо, а стреляете возле табуна зачем? Табунщика искалечили зачем? За это будете отвечать.

— Да ты чего напридумывал-то? Мы его подобрали у кургана. Его чуть беркуты не склевали. Хорошо, что выстрелил. Разлетелись птицы. Тогда мы подъехали, взяли мальчика...

Председатель повернулся к Тойону. Тот мигом отскочил от печки к столу и, злобно посмотрев на Федора, выпалил:

¹ Чолчанах — ласка, зверек.

— С горы глядел, хорошо видел — он стрелял, соловый конь пугал, Сабис уронил...

— Как ты сказал? — кузнец яростно рванулся к Тойону. Тот невольно отпрянул. В руке Пичона тускло блеснул наган.

— Спрячь игрушку, председатель, — крикнул Федор. — Я ее не боюсь. Фу, черт! Выходит, ты поверил напраслине? Какая же ты Советская власть?

— Тойона я знаю, тебя — нет, — отрезал Пичон.

Тойон, опасливо косясь на силача-русского, вышел.

— Слушай, председатель! — Федор пылал гневом. — Ты головой-то своей думаешь или нет? Если бы я его бил, я его там бы и кинул...

— А если ты его привез сюда нарочно, чтобы замести следы? Откуда ты знал, что он из этого аала? Ты мог и стороной проехать, увезти „его“ подальше... А насчет карабина — кто поверит твоей бумажке? У нас тут бумагам не верят.

— Ах, ты... — Федор еле сдержал себя. — Значит, тебе наплевать на печать ревкома? Наплевать на то, что награда заслужена кровью? Воевал я! — выкрикнул Федор. — Мы били их, паразитов, купцов, кулаков и ваших баев.

— Каких ваших баев?

— Баев-инородцев. — Федор забыл вгорячах слово «хакасы».

— Как? Инородцев? Значит, мы инородцы? — приподнялся Пичон, сверля Федора потемневшими глазами. — Царь называл нас инородцами, и ты тоже? Во-он ты из каких!..

— А ты сам из каких, гражданин председатель? — кузнец шагнул к Пичону. — Видел я у вас в партизанском отряде бойцов из ваших деревень. Они так не разговаривали. Попроще... И ты

ко мне не цепляйся. А если хочешь обо мне узнать, можешь спросить в Минусинске или... как вы его — в Минсуге, у председателя ревкома Егора Кузьмича Губенкова.

Пичон вскинул на Федора недоверчивый взгляд, наткнулся будто на стену. «Айна тебя знает, кто ты такой!» Но заговорил уже мягче:

— Почему вы сюда, в наш аал ехали? У нас нет русских и никогда не бывало. Язык наш не знаете...

— Не знаю... пока... Зато сам председатель за-просто говорит по-нашему, — нашелся Федор. — Только некогда мне с вами препираться. Пойду за конем и телегой.

— Ну что же, идите, — усмехнулся Пичон. — Но... — он показал в окно. — Видите, сколько народу собралось у аалсовета? Думаете, вас пропустят? Не-ет. Для них вы — бандит.

Краешком глаза Федор глянул туда, куда показывал председатель. Увидел насупленных мужчин, черноголовых, широкоскулых, приземистых, в сборчатых рубашках с вшитыми оплечьями разных цветов, похожими на погоны; женщин в длинных до пят, таких же сборчатых платьях, в цветастых платках, повязанных концами назад, с косами спущенными на грудь и увешанными монетками. Выделил в толпе низенького, плотного, будто тугой мучной куль, но шустрого мужчину. Сильно кося глазами, тот переходил от одной группы людей к другой, что-то громко рассказывал, жестикулировал. Тут же, в толпе, шнырял Тойон.

«Подстроили... — нахмурился Федор. — Сво-лочи».

— В степи такой обычай, — снова заговорил Пичон, — виноватого судит и наказывает сам народ. Убьют — убьют, выдержишь — отрабатывать будешь аалу...

— Это при Советской власти?! — возмущенно перебил Федор.

— Садитесь, садитесь. Советская власть — я, но я — один, наган один. Если устроят самосуд, ничего не смогу сделать.

— Отвечать придется перед ревкомом, гражданин председатель! Ревком спросит и за меня, и за всю мою семью. Знайте...

— Ну, зачем так! — смягчился Пичон. — Если люди увидят, что я вас наказываю, они разойдутся. За то, что стреляли возле табуна, придется отобрать у вас карабин.

— Отобрать карабин? Не-ет, — выдохнул Федор. — Не пройдет такой номер!

— В этом ваше спасение. Еще дешево отделаетесь. Поглядите на них... — опять кивнул председатель.

В кабинет ворвался говор толпы. «Хазах... Хоортай... Сабис...» — различил Федор слова, повторяющиеся чаще других.

К окну подошел плотный хакас, тот, что размахивал руками, заглянул внутрь, покосился на Федора.

Председатель быстро проговорил ему несколько слов и тут же перевел их:

— Я сказал, что карабин у меня под замком, и велел им всем идти домой. Сейчас получите вашу упряжку.

— Без карабина не поеду! Вы же сами говорили, какое сейчас время.

Глаза Пичона злобно сверкнули.

— Не поедете? Ну попробуйте остаться. Узнаем про вас в Минсуге. Только дорога туда далекая, долго прождете. Где жить будете? Ночевали у Хоортая, теперь как вернетесь к нему? Сабис — его внук...

— Как — внук? — Федор озадаченно потер лоб. «Вот тебе раз, теперь пойдй докажи старику!»

— Ага, испугались? — Пичон словно метнул в него указательный палец. — Значит, виноваты?

— Иди ты! — махнул на него рукой Федор. — Парня жалко мне. И старика тоже. А ты сам, — начал наступать он на Пичона, — что ж не велел отвезти парнишку прямо домой? Почто он тут лежал, брошенный? А если бы помер?.. Меня спросят — молчать не буду...

— Нельзя было везти. Сначала — следствие, акт...

— Акт? Бумажка? — Голос Федора загремел. — У вас же бумажкам не верят... Ну, а человек, значит, пропадай?.. Какой ты к черту председатель...

Неплотно прикрытая дверь кабинета все отходила да отходила. Вот она совсем распахнулась настежь, стукнула. Федор повернул голову и увидел: в дверях стояли Хоортай и Варя.

Кузнец шагнул к старику:

— Так это ваш внук?.. Мы его подобрали, везли на телеге. Вот она, — указывал он на жену, — перевязывала его...

Хоортай ничего не ответил, только поднял подбородок. Встретились две пары глаз — синие, откровенные и черные, опечаленные.

— Вы, дедушка, верьте нам... ему, — Варя кивнула на мужа.

— Пригрел этих русских на свою беду, — упрекнул Хоортая по-хакасски Пичон. — Увези внука. Умрет — придешь за справкой...

Старик побледнел и стукнул палкой об пол:

— Умрет? Сабис! Мой палам будет жить.

— Ладно, смотри, если помрет, на меня, Советскую власть, не пеняй.

— Так не отдадите карабин? — спросил Федор.

— Не могу. Для вашей же пользы. — Пичон встал. Полынцевы поняли: разговор окончен.

— Варюша, — повернулся кузнец к жене, — такое дело... Пойдем отсюда...

Толпа возле ограды аалсовета не поредела, а женщин даже прибавилось. Звенели монетки на косах, мелькали саржевые когенеки, черные платки с вытканными и вышитыми цветами.

— Бедный Сабис! Говорят, его сильно покалечили?

— Да. Такое несчастье произошло с Сагдаевым сыном, такое несчастье...

— Какие жестокие люди, эйлер?¹ Собирались угнать все косяки Хапына...

— Может, и собирались. Этот орыс, наверно, хотел сам сесть на Солового...

— Однако, где Соловый? — спрашивала круглолицая Онис, жена пастуха Пулата. — В телегу у них запряжен худой конь.

— Кто их знает, куда они его девали. А бабу с ребенком бандит возит из хитрости, для отвода глаз. Так люди не догадаются.

— Нет, эйлер, не могу я этому поверить, — упорствовала Онис.

— Ты, Онис, молчи, — перебила ее пухлая, разнаряженная в цветастое платье жена Хапына. — Русские — они хитрые...

Вдруг по толпе прошло движение, раздался глухой ропот. Русские показались на крыльце. Все повернули к ним головы. Рыжебородый мужчина стоял прямо, его голова почти касалась навеса над крылечком. У женщины растрепались волосы, и

¹Эйлер — почтительное обращение женщины к женщине.

она смущенно, под взглядами собравшихся, поправила их.

— Мына, мына! — кричал Ойкан.

На крыльцо вышел Пичон.

— Мылтых чогол, — повторил он несколько раз, указывая на Федора.

— Видите, — повернулся он к Полынцевым. — Едва успокоил, сказал, что ружья у вас больше нет...

А Хоортай все еще сидел около внука в прихожей аалсовета. Он думал о своей жизни.

Семьдесят лет Хоортаю. Много видел он на своем веку. Помнит хорошее и плохое. Плохого было больше. Сейчас реже стал вспоминать Хоортай свою старуху Татья, которую свез пять лет назад на кладбище, к подножию Хара-Кургена — Черного кургана. Было у них тринадцать детей, но в живых осталась только одна дочь Домна. Много камов шаманило в юрте Хоортая, но ни один не вылечивал ребятишек. Болезнь унесла бы и Домну, не повези ее Хоортай в Минсуг.

Не вспомнил бы Хоортай о том давнем случае, как вылечила Домну ласковая русская женщина, кабы здесь, в аалсовете, не увидел, что Варя положила Сабису на лицо мокрое полотенце. Внуку стало легче. Злые люди разве так поступают? Рыжий кузнец показывал руки в мозолях. Пичона укорял за то, что домой Сабиса не привез. Русский похож на хорошего человека. Баба его — тоже. Девочка одна боится оставаться. Оставили!.. Как могли они Сабису худо сделать? Не прятались, ко мне пошли. А Хапын и Пичон прятались от красных. Сидели, как мыши, в подполе...

Старик приподнял полотенце со лба внука. Почувствовав прикосновение руки, паренек простонал, открыл глаза.

— Саби-ис, палам! — обрадовался Хоортай. — Скажи, Сабис, — припал Хоортай к уху внука. — Кто это с тобой так сделал?

Внук не отвечал, только застонал громче.

Опираясь на таях, Хоортай тяжело встал, вышел на крыльцо, к Федору и Варе.

— Почто молчал? — спросил старик, не обращая внимания на стоявшего тут же Пичона. — Теперь как верить? Юрта ходить надо, думать надо. — Он протянул руку в сторону своего двора. — Твой маленький хызычах там плачет, — обратился он к Варе, потом посмотрел на Федора. — Телега забирай, Сабис вези...

— Сейчас, дедушка! — рванулся Федор с крыльца. Хоортай, как ребенка, вынес внука, уложил на телегу. Сам взялся за вожжи. Варя села, положила голову паренька на колени. Федор, чуть горбясь, пошел следом. Толпа качнулась, придвигаясь к подводе с обеих сторон, но тотчас же отхлынула, пропуская старика.

Глава 5

Наголодавшаяся за ночь Бурка резко свернула к чертополоху в углу двора, телегу накренило, трянуло, заднее колесо зацепилось за столбик ворот. Кузнец, шедший следом, приподнял задок телеги вместе со всем, что в ней находилось, оттащил от столбика. Хоортай хмыкнул, ничего не сказал. Сабис при толчке открыл глаза и коротко простонал.

Из юрты выскочила Зойка, бросилась к матери, Варя увидела: веки у дочурки покраснели, припухли — плакала все время, пока оставалась одна.

— Мама, мы сейчас поедем? А его тоже с собой возьмем?

— Кого, доченька?

— Вот его... — Зойка показала на Сабиса и запнулась, не зная, как назвать его, мальчиком или парнем.

Хоортай опять что-то промычал себе в усы.

— Нет, Зоенька. Вот его дедушка, — показала на старика Варя.

Хоортай, осторожно прижимая к себе Сабиса, понес его в юрту, нагнулся перед низенькой дверью, вытягивая вперед руки с дорогой ношей. Он как будто поручал внука духам-хранителям своего очага.

Положив Сабиса на шкуры, старик сел около него, поджав и скрестив ноги, уставился в угол юрты. По лицу его блуждали тени.

Он слышал, белоголовая хызычах сказала «нашли». «Как можно «найти» табунщика, когда он на коне? Значит, все страшное случилось с внуком до того, как его увидели русские!..»

Хоортай все припадал ухом то ко рту внука, то к его груди, а у самого с души спадал тяжелый камень: «Нашли!..»

«Кто привез в аал нехороший слух? — спрашивал он себя. — На закате об этом стали говорить. Кто-то быстро ехал от того места, где пасся табун. Чей конь такой резвый?..»

Старик вновь переживал картину, увиденную сегодняшним утром: клубы пыли на дороге и скачущий по улице с криком «в аллсовет!» всадник Тойон!..

Повернув внука поудобнее и подоткнув ему под бок шубное одеяло, он поднялся на ноги. Из юрты вышел уже другой Хоортай — ноги его не волочились.

— Твой конь выпускай пасти, — сказал он Федору. — Сами изба ходить. Там живи. Совсем пустой изба летом. Домна и Кнай отару пасти, Сагдай — табун сторожи...

— Дедушка! — кинулся к нему Федор. — Спасибо. — Он обнял Хоортаю и прижал к его смуглой щеке, к его сединам, перевитым чернью, свою широкую рыжую бороду.

Белая корова, так и не выпущенная Хоортаем на пастбище, жалобно мычала за сараем. Варя пошла к ней.

— Батюшки! Она ж не доена. Вымя нагрубло... Дедушка, где у тебя ведро? Можно, я подою?..

Она села под корову, поставила ведро, ласково погладила вымя. «Тйом, тйом», — зазвенели белые струйки, падая в ведро. Молоко пузырилось, от него, парного, шел домашний запах. Варе показалось, будто не было у нее никаких сборов и переездов, будто время никуда не передвинулось и сама она все еще переживает какую-то далекую, но не забытую пору.

Это было даже не воспоминание. Просто после сегодняшних треволнений она взялась за то, что ей знакомо и привычно, и это как бы навеяло ей в чужом далеком селении что-то из прошлой жизни.

Видит себя Варя сироткой, годами такой же, как Зойка, взятой из милости в богатый деревенский дом. Перед ней мелькнуло похожее на иконный лик, благообразное лицо хозяина дома Касьяна Самохвалова. Ей снова озорно улыбнулся чернявый, с ласковыми телячьими глазами шалопай Фролка, сын Касьяна...

С Фролкой вместе росли. В будние дни он бегал к дьячку, который учил ребятишек грамоте по дворам. «Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добра...» — заучивал Фролка. Приходил дьячок со своими учебниками и в дом Самохваловых. Им отводили большую горницу, где начиналось самое удивительное для нее. Варя хоть и не училась у дьячка, но садилась тут же со всей ребятней.

— Слоги... — говорил седенький дьячок с волосами, смешно собранными сзади в косичку, перевязанную малиновым шнурком, — слог — сие есть основа глагола, сиречь слова...

И ребятишки повторяли за ним по церковно-славянской азбуке что-то уж очень несуразное: «бра, вра, гра, дра, зра...»

— Варька! — отрывал ее-от непонятных словечек визгливый голос расплывшейся, как квашня, Самохвалихи. — Нечего тебе с ними рассиживать-ся. Неси пойло коровам...

И пойло носила, изгибаясь, как веточка, под тяжестью ведер, и коров доила, дергая неокрепшими, красными от мороза пальцами за тугие соски, и навоз выбрасывала из коровника. Как давно-давно все это было и далеко отсюда!

Грамоте Варя все-таки научилась. Фролка помог.

— Тя-ать, — попросил он отца. — Пусть Варюха тоже к дьячку с азбукой бегают. Кто по двое учится, тем легче.

Самохвалов сказал:

— Резон, Фролка. Коль тебе с Варькой способнее, не перечу. Одначе, не забывай — ты купцом будешь, торговлю мою унаследуешь. Тут, брат, надобно смекать. А Варьке от ученья — что за прок?..

А она, Варя, читать научилась раньше Фролки, который еще с трудом вникал, что это такое: «покой-он-люди-есть» или «како-наш-иже-глаголь-аз». «Эх ты, непонятливый, Фролка! Ведь это «поле», «книга», — звонко смеялась она. А старший Самохвалов неодобрительно тряс пегой бородой и шипел на сына: «Кто она, Варька? Голь перекатная, а читает шустро. Ты-то, лоботряс, хоть бы за ней тянулся в ученье. Наследни-ик!...»

Фролка... Варя задумалась, и струйка молока пролетела мимо ведра. За ту Фролкину просьбу перед отцом — сто раз спасибо. И за то, что книжки показал, — тоже. Деньги у отца на них выпрашивал. Уж на что прижимист был Касьян, а тут не скупился. Шибко хотелось ему, чтобы сын грамотным стал. А Фролка придет к ней, Варе, и отдаст книжки. Прочитала она и «Бову Королеви-ча», и «Царевну-лебедь», и «Конька-горбунка».

Как-то дьячок пожаловался Касьяну, что Фролка все еще не силен в грамоте.

— Не силен? — удивился старший Самохвалов. — А сколько монетов у меня на книжки перетаскал!.. — И узнал, что книжки те не у Фролки.

— Ишь, книжница. Смотри-ка ты, — укорил он Варю. А сына отхлестал вожжами. Избитого Фролку Варя тогда погладила по голове, даже поцеловала...

Только жалела, и все. А он, как стал парнем, что подумал?..

Щеки Вари загорелись, будто ее снова обжег Фролкин поцелуй. Что ж, был и он. А только Фролка хотел поозорничать. Бросил бы он ее, сироту бесприданную...

«Ну может, и не бросил бы...» — Варя усмехнулась и опять представила себе Фролку парнем. Чернобровый, кудрявый, форсистый, в шелковой гиапиновой косоворотке с витым пояском. И глаза — большие, красивые. Много девок по нем сохло, а не женился...

Да и не пришлось ему жениться. Время такое наступило, которое его вывернуло и людям показало. Ох, показало!..

Варя поймала себя на том, что дергает корову за пустые соски.

— Что это я?! Да мне дороже Феди никого нет. С тех самых пор еще, когда он у Фролкиного отца работал...

— Палам, проснись! — осторожно тормошил мальчика Хоортай. — Вот молоко, выпей...

Он слегка приподнял Сабиса. Тот, полусидя, открыл правый глаз, левый был затянута опухолью. Сабис узнал деда, юрту. Припал к чашке с молоком. Долго Хоортай держал молоко возле его губ, прежде чем была опорожнена чашка. Сабис откинулся и застонал.

— Ах, палам, ах, палам! — сокрушался над ним Хоортай.

В юрту вошла Варя с Зойкой. Белые прядки шевельнулись на мокром от пота лбу девочки. Было заметно, что она еще больна.

— Плохо глотает, молоко пить надо, — посоветовал Хоортай. Подумав, поднялся, пошарил за ларем, достал топор и вышел, оставив дверь открытой.

Варя вспомнила, что вещи на телеге не разобраны.

— Посиди тут, доченька, — сказала Зойке и тоже вышла.

Сабис не спал. Он с удивлением уставил видящий глаз на незнакомую светловолосую девочку, сидящую напротив. А сам думал: «Хорошо бы сейчас поймать Солового и проскакать на нем. Соловый опрокинул меня, но виноват Тойон. Это все его дело... Буду с ним судом судиться, властью делиться».

И тот, о ком едва подумал Сабис, непрошеным гостем переступил порог.

— Сабис! Жив? — заговорил Тойон, улыбаясь. — Ты не сердись на меня, это была шутка,

Сабис... Совсем не знал, что Соловый такой норостистый... Ты меня прости... — Он подошел к постели Сабиса, присел. Взгляд ласковый, голос звучит мягко.

Сабис отворачивается.

— Сердишься? Ты прав, — соглашается Тойон, осматриваясь вокруг и косясь на Зойку. — Просить тебя пришел: никому ничего об этом не рассказывай. Соловый будет твой... Насовсем... Если станут спрашивать, как разбился, — Тойон опять покосился на Зойку, — говори всем, что русские напугали коня...

Зойка узнала Тойона, ведь она видела его там, в степи; это его лошадь куснула Бурку. «И лошадь злая у него, — думала девочка, — и сам он злой. Он только притворяется добрым».

Тойон потрепал пастушонка рукой по плечу: «Поправляйся». Потом поднялся и ушел.

Зойка видела — у Сабиса мелькнула улыбка.

А Сабис в мечтах мчался на обещанном ему Соловом, самом резвом иноходце во всей округе, — птицу на лету настигал, зверя на бегу догонял.

...Федор Полынцев шел от аалсовета. День снова выдался солнечный, жаркий. «Будто у горна», — подумал Федор. Солнце прожигало сквозь черный выцветший пиджак. Снял его, повесил на руку, остался в косоворотке.

Встречные мужчины и женщины глядели на него с любопытством. Некоторые даже отвечали на его приветствия. И только двое босоногих мальчишек лет семи-восьми, возившихся в пыли возле ворот, стреканули от него во двор. Над заплотом, с той стороны, показались их вихрастые макушки.

Федор смотрел по сторонам, примечал: «Дворы какие-то куцые. А-а, вот оно что! Нет огоро-

дов... И чем питаются?—поднялась его бровь.— Неужели все мясо? А что это там растет под окнами? Батюшки, картошка! Нашли место...»

«А вот та канава!» — узнал Федор рытвину, куда угодил ночью.

Возле дома с крышей, починенной тремя новыми тесинами, стоял хакас лет тридцати пяти, в рубахе цвета яичного желтка и мятых шароварах. В руках он держал уздечку. Федор повернул к нему голову, чтобы поздороваться, но тот опередил его:

— Торова, труг!

— И ты здравствуй! — кивнул Федор.

— Туда ходил? — Новый знакомец показал рукой на аалсоветовский конец улицы.

— Туда, — подтвердил кузнец.

— Однако зря, — быстро проговорил хакас.

— Откуда ты знаешь? — Федор заглянул ему в глаза, в глубине их прыгали чертики.

— Апах видит. Ружье твой чогол, нет.

Он пристроился к Федору, и они пошли вместе.

— Ковыл будем ловить, — показал Апах на уздечку.

— Ковыль? — удивился Федор и вдруг сообразил: — Кобылу, значит?

— Ага, ага, ковыл, — закивал, заулыбался Апах. Федор увидел, как на щеке его запрыгала родинка. — Ковыл надо подков делать передний ноги, — объяснил Апах. — Русский деревня поведем, хакассский аал подков не делай...

— Эх, — остановился Полынцев, — подковал бы я твою кобылу, да горна нет. И станок надо. Неужели так и маетесь без кузницы?..

— Верна, маись... — Апах посмотрел на русского и вдруг предложил: — А ты кузнес, ходит говорка. Делай нам кузниса. Шибка нада...

— Сделаю! — неожиданно для себя согласился Федор. «Что это я? — подумал он. — Сразу, ни с того ни с сего».

— Ой, хорошо, — радовался Апах. — Русский кузнес аал живи, кузниса дыми, молоток стучи...

«Так-так, — опять подосадовал на себя Федор, — дернуло же за язык!» А где-то билась еще не сложившаяся мысль: «Сказал тому крючку, председателю, что без карабина не поеду... Вот и останусь пока. Дело находится...»

— Аал совсем пустой, — посетовал Апах. — Люди пшенис, ячмень убирай — там, — махнул он рукой.

Полынцев увидел вдали желтеющие полосы, спросил:

— А ты почему не в поле?

— Пшенис убрал, — ответил с достоинством Апах. — Суслон склал. Теперича снопы вози надо. Много ездить. А ковыл некованный...

У поворота Федор расстался с Апахом. Прощались за руку.

Полынцев опять вернулся думой к своему, наболевшему. «Вот сходил в аалсовет, а вертаюсь ни с чем. На двери замок. Ойкан сказал: «Пичон чо-гол». Уехал, значит, куда-то крючок проклятый. Ну ничего, лжа, она как ржа, — пристанет к железу, да можно отшоркать. Того светлей будет».

Глава 6

Чашей с пологими краями кажется Красное озеро. В знойные летние месяцы порядочно поубавилось в нем воды: выпило ее солнце. Озеро обмелело, берега в кочках и камышах. Долина его уходит к пологим холмам. На взгорьях и в седловинах между ними, в самой долине пасется скот

Хапына: бычки, телочки, овцы. Смотрят через озеро друг на дружку две пастушьи юрты, приткнутые к жердяным загонам. Весь берег в мелких выбоинах — следах овечьих копыт. В загоне — толстый слой притоптанного помета. Все тут пропахло овцами: и земля, и загородки, и юрты, и даже сама озерная вода.

Чабанская шестиугольная юрта высохла на солнце добела. Зато хозяйка ее загорела, продубилась за лето. Сорок лет Домне, а на вид можно дать больше. Вот она сидит сейчас на крыше юрты, сушит творог, во рту трубка. Домна блаженно щурится. Похожа она не на отца — Хоортая, а на мать — Татью: среднего роста, широкая в кости. Рукава платья она закатала, обнажив очень полные руки. Голова ее повязана линиялым вышитым платком, из-под которого выпущены две косы. Нос у нее сплюснут, будто прижала однажды Домна лицо к стеклу — рассмотреть чего-то за окном хотела, и больше нос не захотел расправиться. Карие глаза посажены широко, немного раскосы. У кончиков губ справа и слева — по несколько черных волосков.

С крыши ей видно, как матки с ягнятами щиплют траву на склоне холма. Ягнята взбрыкивают, носятся по степи, подлазят к маткам под брюхо, сосут, упав на передние ноги.

С чабанским посохом — ярлыгой — отару обходит дочь Кнай. Она молода, ноги не утомляются ходить за отарой, руки не устают махать ярлыгой. Лица Кнай отсюда, с юрты, не разобрать, но уж кто-кто, а Домна знает, что дочка миловидна, хоть загар и подпортил её румянец. Щеки у Кнай круглые, нежные, а посмотрит из-под бровей-ниточек черными угольками-глазами, любого парня с ума сведет.

Домна слезла с крыши.

В юрте горел огонь. В дыму очага, на перекладине, коптилось мясо, нарезанное длинными тонкими полосками. Тут же, на другой перекладине, коптились овчины. Много с ними работы, прежде чем они станут шубой, тулупом, шапкой, рукавицами. Свежую овчину моют, скоблят, топчут ногами, чтобы сильнее разбухла. Потом намазывают мездру хлебной закваской, которая отъедает оставшийся жир. После этого овчину обрабатывают скребками, мялками, коптят, снова разминают. Домна — мастерица выделывать овчины.

Да и какая хакасская женщина не знает всех способов выделки овчин! Разве только жена Хыпына...

Долго возилась Домна с овчиной, прежде чем повесила коптиться. Теперь висят уже одиннадцать овчин: десять овчин — хозяину, одиннадцатую — себе, за работу. Наберется таких с пяток — можно и шубу сшить.

Дождь, наверное, сегодня разразится. Всю эту неделю так жгло солнце, так парило озеро! Домна слышит — потянуло ветром. Она берет шест с привязанной к нему тряпкой, высовывает в дымовое отверстие. Лоскут на шесте сразу затрепыхался. «С заката ветер, — соображает Домна, — может ливень пригнать...»

Много дел у Домны. Ночью она не заснет до рассвета — будет караулить овец. И днем спит мало. Домна еще и сапожничают. Немного отдохнув после возни с овчинами, она подсела к дверям юрты со своим чеботарством. В маленьком деревянном ящичке сложены толстые и тонкие, прямые и кривые шила и шильца — наколюшники, нитки из жил — прочнее обыкновенной дратвы, иглы, пучки щетины, березовые гвоздики.

А еще в ее ящичке есть то, чего не встретишь у обычных чеботарей: серебряные и золотые нити,

парча! Домна не просто шьет сапожки — вышивает кожу узорами: листиками, сердечками, цветочками. Сапожки эти она вышивает для жены Хапына, щеголихи.

Домна работает сосредоточенно, изредка лишь поглядывая в степь. Руки ее искусно прошивают стежками гладкую кожу, изредка шелкают ножницы — до того увлеклась, что забыла и про свою трубку. Вот пройдет жена Хапына по улице в удивительных сапожках и заговорит в аале о Домне, до чего искусна!

За свои изделия Домна не назначает платы, не умеет она оценивать свой труд. Пусть жена Хапына уплатит за сапожки столько, сколько ей не жалко...

Но если Домна-чеботарь не признает никакой ряды, то Домна-чабан свою ряду знает. Пропасешь овец благополучно целый год — и за каждую сотню их получай по ягненку. Но если потеряешь, да еще суйгную, — хозяин возьмет двух ягнят у тебя: считает, что овца принесла бы ему двойняшек.

Худо, если овца сдохнет и ты забудешь вместе со шкурой предъявить хозяину ее уши, на которых выстрижена метка. Овцу все равно поставят тебе в начет, осенью взамен возьмут твою... Иной год проходит благополучно, а иной — падает одна овца за другой. Оплошаешь, не за всех отчитаешься перед хозяином — пропал твой заработок.

— Домна, эй, Домна-а!

Оказывается, сосед, Хапынов пастух Каной, пришел из той юрты, что на другой стороне озера.

— Почему подкрадываешься, Каной? Напугал меня, — сказала Домна. — Чего это у тебя с голосом? Как там Терпей?..

— Напился с поту холодной воды. Терпей с ребятами. Твои мужики, Домна, не приезжали?

— Совсем пропали где-то. Ни Сагдая нет, ни Сабиса. Не знаю, что думать. — Домна поправила на голове дырявый платок, заодно почесав твердым черным ногтем макушку.

— Недобрые дела в степи творятся, Домна. — Каной закашлялся. — Ох, недобрые!

— Что такое, сосед?

— Заезжал Тойон. Говорит, русские бандиты стреляли в какого-то табунщика.

Домна побледнела. Не мигая смотрела она на Каноя, ждала, что он скажет еще.

— Табунщиков много, Домна, — успокаивал ее Каной. — Верить Тойону надо не во всем. Какой-то на сороку похожий... Я вот к тебе пошел за три версты, думал, ты что-нибудь слышала об этом от своих.

— В какой стороне беда? — быстро спросила Домна.

— Говорит, не знаю, — сипел Каной. — По его словам — к восходу от Чобата.

— Микола-боженька! — перекрестилась Домна. — Пусть беда пройдет мимо нас, пусть она о камень разобьется.

Чтобы успокоиться, она набила трубку из кисета и закурила. Каной заметил, что губы ее дрожат.

— Ваши ближе сюда — что с ними станется!

— Да-да, наши у горы Оглах. Далеко ли тут верховому! — спохватилась Домна. — А Тойон — обманщик. Какие могут быть русские шатуны?

— Русские-то? Не знаю. Колчаки, наверно... Сама знаешь, недобитые спрятались по тайгам. Кто их нашел? — вытряхивая трубку, заключил разговор Каной.

Опираясь на таях, он отправился к своим бычкам и телкам.

Домна отложила сапожок, задумалась. «Отец, однако, совсем старый стал. Раньше приезжал каж-

дый день проводывать ее, Сагдая, Сабиса, а теперь все дома да дома... Года, наверно, подошли... Да-а, время идет. Вон Кнай выросла. Давно ли у нее грудь была, как у мальчишки, а теперь... Невеста! Сабис вытянулся, тоже работает. А скоро, время подойдет, и семьями обзаведутся. Сына женим, дочь замуж выдадим. Вот уж тогда сама перестану тут степь караулить».

К юрте, мыча, подошли две низкорослые коровенки. Домна взяла ведро. Молоком от этих коров она выпаивает из рожка слабых ягнят. Молоком питаются и сами чабаны, но его мало, надоила лишь полведра.

Давно пришла из степи отара. Поужинав молоком, сыром и лепешками, Кнай легла отдыхать, а Домна теперь должна бодрствовать. Время от времени она обходит загон, подбадривая криком собак, чтобы не заснули, лучше помогали ей караулить, успокаивает овец и возвращается в юрту. Сидит при свете жирника, расплетая жилы и суча нитки. Чутко прислушивается Домна к ночным звукам. Слышит, как утихомиранные овцы с ягнятами посапывают за стенкой, как бродят вокруг, изредка взлаивая и взвизгивая, ее сторожевые собаки. А вот откуда-то издалека, с закатного края степи, докатился басовитый раскат. И словно дунуло ветром, поколебав даже пламя жирника в юрте. Услышав дальний гром, Домна выбежала наружу.

Было около полуночи, она определила это по отдельным редким звездам, еще не закрытым тучами. Дул сильный ветер и гнал черную мглу. Время от времени ее прорезали ослепительные дорожки молний, и почти сразу раздавался грохот, будто там, в тучах, тяжело ворочались мельничные жернова.

Пока Домна, окликая собак, обошла овчарню, примчался дождь. Он насквозь прохлестнул легкую одежду, и Домна заторопилась в юрту — надеть сырцовую шубу. А еще вспомнила она, что под дымовым отверстием юрты овчины висят. Промочит их, пожалуй.

Отодвинув овчины и одевшись, Домна подошла к спящей Кнай. Разметалась дочь во сне. Длинные ресницы сжаты и оттого кажутся еще чернее, губы полуоткрыты. Домне жаль было тревожить ее. За день находилась Кнай по степи, намаялась. Пусть уж спит...

А дождь все сильнее барабанит по крыше и скоро превращается в ливень. Ветер усиливает его; у ветра широкая горсть — махнет разик, и на тебя будто озерная волна накатила. Молнии пляшут над испуганной Домной. Овцы в грозу станут жаться одна к другой, грудиться в открытом загоне, а их та'л полторы тыщи. Сами себя помнут и ягнят подавят. Хотя и лето стоит, а волков тоже надо остерегаться.

— Халтарах, Халтарах!

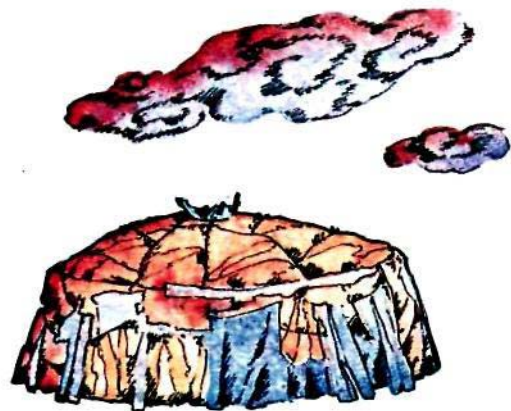
Большой пес, невидимый в темноте из-за червой шерсти, подбежал к хозяйке, ткнулся ей мордой в коленку.

— Идем, Халтарах!

Она открыла загон, пошла среди овец, помахиная таяхом. Ветер свистел, ливень сек овец, и они шевелились сплошной темной кучей. От озера доносились всплески волн. Овцы начали с бляением грудиться к изгороди с подветренной стороны так, что затрещали колья.

— Узы, Халтарах! — крикнула Домна и сама кинулась растаскивать и разбрасывать овец.

Собака носилась вокруг, остервенело лаяла. Чабанка хватала овцу за овцой за мокрую шерсть, отшвыривала их от изгороди. Она пробивалась и



никак не могла пробиться к середине этой живой ворошащейся кучи. Ноги ее скользили в мокром, чавкающем овечьем помете, руки заломило. Не хватало дыхания. Силы оставляли Домну.

— Халта-ра-ах! — хрипела она, задыхаясь, чуть не плача от бессилия.

Ей некогда было смотреть вверх, где темнота перемежалась огненными вспышками, где все грохотало и свистело, откуда лились уже не струи, а один сплошной тяжелый поток, шумно разбивающийся о землю. Домна не чувствовала, что промокли ноги, что осклизла земля, что упал поток, который тут же затоптала отара.

Отбрасывая овец, она сделала неловкое движение и пошатнулась. Падая навзничь, Домна подняла руку, закрыла голову. И в тот же момент от земли до неба выросло огненное ветвистое дерево, раздался неслыханной силы удар.

Всполошенные овцы опять кинулись в кучу в то место, где лежала так и не сумевшая подняться Домна.

Кнай вздрогнула, открыла глаза. Со сна она не понимала еще, что это такое грохочет и блесит там, за юртой. В дымовое отверстие крыши хлестала вода. Шипели угли в очаге. Пламя жирника, поставленного к стенке, колебалось.

Матери в юрте не было. Донесся лай Халтараха, еле слышный из-за раскатов грома и шума ветра.

Девушка быстро сбросила одеяло и в одной сорочке, босиком выбежала из юрты.

— Иче, иче! — кричала Кнай, звала мать. — Где ты, иче?

Она наткнулась на открытые ворота загона и побежала на лай Халтараха, крича и расшвыривая овец.

Над загонем снова блеснуло и грохнуло. Сгрудившиеся овцы ошалело наперли на городьбу. Старые трухлявые колья не выдержали тяжести, с треском подломились, и вся эта обезумевшая, громоздящаяся и тяжело шевелящаяся живая масса покатила из загона.

С криком «Иче! Иче!» Кнай бегала по опустевшему загону. Опять сверкнула молния, и девушка увидела: мать лежала в грязи, одна рука отброшена, другая на голове. Кнай в ужасе кинулась к ней.

Домна слабо простонала. Кнай обхватила ее обеими руками, прижимая к себе. У нее хватило сил лишь наполовину поднять мать. Кнай поволокла ее к юрте. Ноги Домны чертили по земле. И это было особенно страшно! Кнай плакала, задыхаясь. Шаг, еще один шаг. Сделав усилие и перетащив мать через порог юрты, Кнай расстегнула на ней мокрую и грязную шубу.

Ливень кончился, перегорели молнии. Ветер расшвырял клочья туч, как черный пепел. Немного отбелилось небо, кругляш которого был виден через отверстие юрты. Отара, сломавшая загородку загона и вырвавшаяся из него, теперь блеяла, кашляла и жалась к юрте.

Домна постанывала на топчане, куда ее с трудом перетащила Кнай.

— Иче, где у тебя болит? — спрашивала дочь.
— Везде, все тело.

Она уставилась на пламя жирника. Язычок его колеблется, и глаза ее тоже то светлеют, то темнеют. А может быть, это не просто ответ? Может быть, они засветились так сами, изнутри?

Про Сабиса думает Домна. «Палам, сынок, — шепчут ее губы. — Вырос ты, Сабис, совсем вырос!» — Губы ее растягиваются, лицо озаряется, в глазах еще больше света.

И еще видит она Сабиса в степи. Желтовато-серый конек выгибает шею, стрижет ушами, высоко несет точеную голову. Его ноги, кажется, загребают воздух. Круп лоснится, золотисто-белый хвост распушился, стелется чуть не по земле. Горяч и дик Соловый. Никто еще не сажился на его круглую спину. А Сабис сел. Объездил ее сынок лучшего в табуне коня и к ней, матери, прискакал на нем. Смотрит на нее, глаза, как черные звезды, волосы взбиты ветром, щеки пылают...

Вдруг Домна стала беспокойно поворачивать голову, обшаривая глазами стены юрты. Разве она что-нибудь потеряла? Вот висят выделанные овчины, вон Кнай положила рубики — длинные брусочки о четырех гранях; на них все Домнино чабанское счетоводство. Неправда, что у баев овцы неслученные. Считают их, да еще как! И невозможно Домне обойтись без рубиков, на которых косыми крестиками и прямыми палочками насечено, сколько овец она и Кнай пасут у Хапына.

Но зачем сейчас Домне рубики? Нет, не их она ищет. Взгляд ее остановился на недошитом сапожке.

«Сапожок, сапожок... — она уставилась на него и пытается вспомнить, что надо с ним сделать. — А-а! Вот оно, то самое, что силилась вспомнить. Вовсе это не про сапожок. Просто она держала его в руках, когда приходил Каной и говорил, будто бы кто-то стрелял в табунщика. Каной показал ей совсем в другую сторону — не в ту, где пасут коней Сагдай и Сабис, и она успокоилась тогда при нем. А сейчас подумалось: «Что, если Сагдай перегнал коней на новое место...»

В ночи к ней пришла тревога. Рывком, едва помня себя от резкой боли, Домна поднялась, села, опустила ноги на пол.

— Доченька, Кнайях, — позвала она. — Выгляни за дверь, однако, светает...

Кнай увидела на востоке еще не зарю, а узкую бледную полосу.

— Нет, мама. Еще не утро...

— Послушай, дочка, не едет ли кто? У меня в ушах шумит...

Прислушалась Кнай — никого не слышать.

— Никта не едет, мама.

Домна опять упала на топчан.

— Боязно мне. Каной был. Рассказывал, бандитм стреляли в какого-то табунщика... Наши не едут... Рассветает. Запряги Чалого, мне надо в аал... Отдру далеко не гони, тут паси. Увидишь чужих — пряться в камышах.

— Мам, как ты поедешь? Может, мне ехать?..

— Что ты, дочка! Если останусь, душа изноет.

Еще сильнее встревожилась Кнай. Стукнет попытом овца, взлетает во сне Халтарах — Кнай аздрогнет, глаза ее расширятся. Откроет дверь — все тихо. А заря уже проглянула, разгорается, окрашивая степь. И в юрте стало светлее, видно все без жирника.

Дунула на него Кнай, качнулось неяркое копыецо пламени и пропало.

Лишь у Домны не погас ночной страх. Торопит дочку: «Иди, запрягай».

Звякнула уздечка, снятая Кнай со стены. Скрипнула дверь юрты. И уже снаружи доносится голос дочери, уговаривающей Чалого стоять спокойно, пока она надевает на него хомут, ставит &оглобли.

Омытое ливнем, взошло радостное солнце. А Домна вышла из юрты ему навстречу, потемневшая от боли и ночных страхов. Кнай посадила ее на телегу, дала в руки вожжи. Дорога в аал Чалому энакома, затрусил по ней с места.

Обернулась Домна, видит: степь парит. И над сломанным загоном, над юртой как бы легкий дымок струится. У юрты стены прохлестаны ливнем, зеленеют пятна мха на крыше. Вход темнеет. А перед юртой Кнай склонилась, как травинка, косички черные повисли, руками лицо закрыла. Наверно, заплакала: жалко мать отпускать больную, неизвестно, что с отцом и братом. Одной оставаться страшно. А тут еще ночная гроза беды наделала... Ни за что бы не оставила Домна сейчас Кнай одну. Сердце ее готово разорваться: одна половина его с дочерью, другая — с мужем и сыном.

А Чалый все рысит да рысит. Вместо юрты уже маячит серое пятно. И лица Кнай теперь не видно, только платье синее.

Нехотя отвела Домна взгляд от чабанского становища, глядит вперед, подергивает за вожжи. Ей кажется, что Чалый бежит слишком лениво, хотя дробко тохкут аорагу его кошйТа^ а коллса. то и дело постреливают грязью.

Начался длинный подъем на холм. Чалый пошел шагом. Домна никак не дождется, пока телега поднимется к вершине холма. Ну, скорее бы, скорее!.. Вот уже и дорога будто суше ст»ла, и трава распрямилась, а вершина холма все еще далеко. Чалый взбирается вверх, и солнце то*е все выше да выше поднимается, вся степь им залита. За лощинами опять идут холмы. Один из них похож на лежащего алыпа¹

Над вершиной что-то зачернело, стало расти, и скоро показался всадник. Он взмахнул рукой, ударил лошадь, и она понеслась вниз, иавстречу Домне: развеивается грива, комья грязи летят из-под копыт. «Конь Пулата, карий с лысиной, —

А л Ы п — богатырь.

узнала Домна. — А на нем кто это? Неужели отец? Он!»

тец подскакал к телеге, осадил коня, слез с седла.

— Где Сабис? Где Сагдай? — с надеждой и страхом спросила Домна.

— В аале Сабис, — ответил Хоортай. — В аале он. А Сагдай с конями...

— Что с Сабисом? Он живой?

— Живой... Только ушибся... Соловый напугался, волочил маленько... Русские привезли Сабиса...

— Ох, — простонала Домна. — Сабис, сыночек!.. Русские привезли? Каной говорил, русские стреляли... Нет, ты правду сказал мне, отец? Живой он?

Хоортай понял — Домна не успокоится, если он сейчас же не принесет ей самую страшную клятву. Он выпрямился, лицо его стало торжественным.

— Пусть проглотит меня Таг-эзи¹, если говори неправду, — сказал он, склонясь и касаясь рукой земли.

— А ты зачем так торопился, отец?

— Как зачем? Ночью гроза прошла в этой стороне. Я вставал, молнии видел.

— Кнай там, — махнула рукой назад, к Красному озеру.

— А что с тобой? — пригляделся к ней старик. — Как же я сразу-то...

— Овцы полезли. Ночью. Стали грудиться, — слабо ответила Домна. — Загородку сломали. Поезжай, так увидишь. Поможешь Кнай, а я до аала как-нибудь доеду... — Она опять взяла в руки вожжи.

Таг-эзи — злой дух.

«Приедет в аал, увидит Сабиса, увидит русских — что сделает? Кто ее остановит? — торопливо соображал Хоортай. — И люди всякое нашепчут. Сама хвора. Еще пуще захворает... Нет, туда ей нельзя...»

— Послушай, Домна, — Хоортай положил руку ей на плечо. — Сейчас ты лучше не езд. — Показывается Сабис. А увидит тебя такую, хуже ему станет.

— А мне надо его увидеть, — не сдавалась Домна.

— Увидишь, потерпи, — уговаривал Хоортай. — Нельзя, чтобы ты такая к нему приехала.

Домна подумала, вздохнула, еще раз испытующе посмотрела на отца и нехотя потянула лошадь за одну вожжу. Телега сделала полукруг, и Чалый потащил ее обратно, под гору. Хоортай сел рядом, Пулатов Карька шел на привязи за телегой.

Ехали молча. Хоортай раск ривал трубку, которая тихонько посапывала, посвистывала, будто убаюкивала Домну, а той вдруг стало спокойно возле отца. Знала Домна, как отец курит, если в жизни тишина, и как он курит, когда случается несчастье. Клятве, может, не поверила бы, а вот трубке нельзя не верить.

Успокоилась Домна.

Глава 7

Над крутым берегом Чобата одиноко стоит аккуратно обнесенный заплотом небольшой крестовый домик.

К нему примыкает тесовый навес, под которым стоят тарантас и кошевка. За навесом — амбар, сеновал, конюшня, где бьет копытами черный, как вороново крыло, выездной жеребец. Он застоялся, давно не видел дороги.

В этом дворе чего-то не хватает, чувствуется какая-то пустота. А не хватает юрты. За конюшней, за пристройками для скота начинается густой конопляник.

После заката скрипнули ворота — вошел хозяин. Повернул голову направо, налево, хлопал городской пиджак, пошаркал у ступенек короткими ногами, отскребая грязь с подошв хромовых сапог, и поднялся на крылечко. Нашарил в кармане ключ, открыл дверь. Скупое осветились сени. Пусто в них, справа и слева двери, все на замках. Покосился на замки и пошел прямо, в третью дверь, потянул ее за скобу на себя и очутился в прихожей. Пошупал русскую печку — холодная, покачал головой. Свернул направо, в столовую с венскими стульями, заглянул оттуда в маленькую комнату, где к стене приткнулась узкая железная кровать, застланная потрепанным одеялом. Попалясь на глаза ленточки на угловичке и начатая вышивка. Смахнул их со столика, проворчал: «Марик, чертовка, где ты бродишь? И ужин не разогрела».

Постояв, подошел к двери, отпер ее хитрым ключом. Окна комнаты, выходящие во двор, закрыты ставнями, здесь почти темно. Но хозяин знает, где и что тут расположено. Вот широкая деревянная кровать, где на пуховой перине, прикрытой одеялом из верблюжьей шерсти, громоздятся гора подушек с желтыми наволочками. Есть еще тут два больших, обитых полосками жести ящика с тяжелыми замками да этажерка с толстыми книгами. Не глядя, может взять хозяин любую из книг и не ошибется, которая — учебник по государственному праву, которая — Свод законов...

Кто это в аале такой законник? Пичон Почкаев, председатель аалсовета.

Пичон зажег фитиль, присел к маленькому столику под лампой, свет, отраженный абажуром, обволакивал его. Круглая тень от головы скользит по столику, по разложенной на нем карте, истершейся на сгибах. Председатель водит по ней коротким пухлым пальцем и чуть слышно бормочет:

— Так... Урянхай... Монголия... Алтай... Телеское озеро...

В двери кто-то тихо постучал. Пичон быстро свернул карту, перенес лампу из спальни в столовую.

— Ты, Тойон? Заходи...

— Пичон-абый¹, русский не хочет уезжать.

— От кого узнал?

Тойон глядит исподлобья, расстегивает верхнюю пуговицу вишневой шелковой рубашки.

— Апах всем рассказывает: русский будет кузницу строить.

— Ку-узницу?..—Пичон *взялся* за подбородок двумя пальцами, немного подумал. — Пусть строит. Кузница аалу нужна.

Все это время он не сводил глаз с Тойона. Тот, услышав, что председатель как будто бы даже одобряет намерение русского, задвигал бровями, переступил раза два с ноги на ногу.

— Да ты садись, что стоишь-то! — Пичон пододвинул Тойону стул. — Расскажи, что ты сделал с Сабисом.

— Я? Да, что вы, Пичон-абый? Ничего не делал. Это русский же. Я с горы видел.

— Слышал это. Это для всех в аале. Для меня теперь расскажи.

Насмешливо опустили уголки губ Пичона: «Вижу тебя насквозь».

А б ы й — почтительное обращение к старшему.

— Знаете, Пичон-абый! Мои обиды перешли на Сабиса. Руками русского бог отомстил за меня.

— За что мстил? — В глазах Пичона что-то блеснуло, может, интерес, а может, догадка.

— Помните, как Сабис меня там опозорил... В землю бы ушел — дыры не было...

— Так-так... — кивал головой Пичон, ему стало все ясно. Вон, оказывается, с чего пошла завариваться эта каша.

...В начале лета в аале был устроен кюрез — состязания молодежи в национальной борьбе. На эти состязания собирается народ со всех близлежащих аалов — стар и млад. А девушки-невесты приезжают даже из самых дальних аалов.

Тойон пришел в новой сборчатой рубашке, в высоких сапогах с вышитым верхом. Закатал рукава, чтобы показать сильные руки. Мускулы так и перекатывались под смуглой кожей. Ровесиики боялись с ним бороться. Хапын ходил среди народа, бахвалился: «Никто не одолеет моего алы-па. Не найдется смельчака...»

Но тут неожиданно вышел шупленький Сабис. Его никто не подбадривал: «Куда ему, малолетку! На два года моложе Тойона. Хвастунишка, видать!»

Борцы возились долго. Много раз Тойон пытался придавить Сабиса к земле. Но Сабис выскальзывал.

Тойон наступал, и опять казалось, что вот-вот Сабис рухнет. Но он ловко изогнулся, напряг все тело и, как тугая пружина, начал распрямляться, а потом кружить и вертеть Тойона. Он бросил Тойона через голову, и тот растянулся на земле. И что позорнее всего, Тойон выпустил из себя нехорошие газы. Раздался дружный хохот и девичий визг.

С той поры за Тойоном закрепилось прозвище «Вонючка»...

— Отомстил? — спросил Пичон.

Тойон немного подумал:

— Нет еще... жив...

Лицо Пичона посерьезнело, он поднялся, хлопнул парня по плечу.

— Кто не умеет мстить — тот не умеет жить. Ну, ладно, все. С русских не спускай глаз. Ты еще ничего не доказал!

— А как же не спускать?

— Понимай сам...

Закрыв за племянником дверь, Пичон вернулся и зашагал по комнате, то вскидывая голову так, что черные волосы разлетались, то опуская ее.

Русские в аале. Все дело в том, какие русские.

Был тут в восемнадцатом со своими казаками атаман Сотников, как на Минсуг шел. Есаул. Сын промышленника с Енисейского Севера. Немного постарше Пичона. Даже общие знакомые по университету нашлись... А отец Пичона водил дружбу с Петрицким. Сколько золотых рудников и приисков было у Петрицкого в Кузнецком Алатау и Саянах! На хакасской нашей земле сидел, золото из нее брал. Золото — «желтый жеребец» звонко ржет, далеко слышно. В Питере и за границей знали Петрицкого. От местных родов почет ему был. Когда рудники строили, клятву на дружбу давал. Золото в вино сыпал, сам пил, все аксакалы пили. Был бы он сейчас и у Пичона и у Хапына почетным гостем...

Пичон присел к столу, облокотился, положив на руку подбородок, и уставился в стену. Он видел перед собой весеннюю тайгу, пихты, выметнувшие на кончиках темных лап молодые светло-зеленые побеги; видел поляну, розоватую от цветущего кандыка, и толпу на ней. Собрались только

мужчины, старейшины родов: баи, аксакалы. Тарары¹ — один другого ярче, пестрее. И себя он увидел в этой толпе, немного помоложе, чем сейчас, на два года. Собрались отделиться от России: красные в ней власть взяли, белых гонят.

— Красные плохо и белые плохо, — говорили аксакалы. — Надо объединиться всем нашим тумам², сами править будем народом...

«А какая ошибка была? — силился разобраться Пичон. — Да-а... Армию не организовали. Не все были согласны... Особенно те старейшины, чьи аалы ниже по течению Ахбана. А почему они не согласились? С другими русскими живут, с такими, как этот Полынцев. Надо было с Сотниковым временно соединиться, до изгнания большевиков. Да-а, глава объединенных тумов! А кого еще другого могли выбрать? Кто еще из сыновей старейшин учился в университете?»

А случилось это так. Дед Пичона носил нарав пояс за то, что отправил в Питер сорок пар воронных скакунов. А отцу тыщами пригоняли урянхайских сарлыков и курдючных баранов за китайский шелк, чай и всякие безделушки. Крупно торговал отец. И жаловал ах-хан — белый царь род Пичона за верность.

А деньги на обучение с народа собрали. А когда отца Пичона расстреляли красные, приехал Пичон к Хапыну, а тот сказал здешним: «Помните, всем тумом собирали деньги на учебу одному нашему парню? Это он есть, мой двоюродный брат...» Поверили. Раньше тут его никто не знал и не видел. Совсем мальчишкой с отцом приезжал.

¹ Т а а р ы — национальные халаты.

² Т у м а (искаженное «дума») — административная единица в дореволюционной Хакассии.

А деньги для кого-то собирали, это помнят. Так Пичон Оможаков стал Пичоном Почкаевым. Хапын верен, надежен. Ждет от него действия, чтобы жилось, как в старое время. И Петрицкий за границей ждет того же.

Пичон перешел со стула на диван, лег.

«Полынцев, Полынцев... — думал он. — Стоп! — Вскочил. — А не притворяется ли он красным? Зачем красному забираться в глушь? Врет, что в Бондаревку ехал. Как проверить? Подожду отдавать карабин, присмотрюсь. Пусть живет в аале, пусть строит кузницу. Человека мне надо, чтоб он военное дело знал. Голова у восстания здесь, а рука должна быть там».

Петрицкий делает ставку на Пичона Оможакова-Почкаева. Торопит с отделением Хакассии. Людей из-за границы посылает, требует формировать боевые отряды... Только не знал Пичон, у кого искать поддержки, чтоб удача была полной. Сотников расстрелян. Остаются двое — Оловьев, что засел в Ширинской тайге на Поднебесном зубе, и Унгерн, который занял Монголию. С ними можно объединиться...

Со двора в ставень постучали. Пичон вскочил, прислушался.

— Раз, — отсчитывал он, держа руку на весу, — два... три! — Он энергично опустил руку и быстро пошел открывать.

— Ну, братишка Серге, садись. Устал, наверно?

— У седока конь устает, — ответил, сверкая обнаженными в улыбке зубами, молодой хакас... Лицом он отдаленно походил на Пичона, только губы были тонкие, ровнее да волосы с более светлым отливом.

— Есть хочешь?

— Не мешало бы.

— Где-то Марик долго пропадает каждый вечер. Но скоро придет. Подождем...

Серге хлопнул Пичона по плечу:

— Ловкий же ты!

— Ловкий не ловкий, но до поры до времени это необходимо. У каждого свое место. Твое с отрядами, мое — здесь...

— Понимаю, — ответил Серге.

— Понимаете, но не все. Вы там в степях и аалах сильно не пугайте народ. Баб уволакивать надо без шума. А вот это, — потрогал Пичон вздувшуюся на груди кожаную куртку Серге, — надо держать незаметно... Ну, как, отряд растет?

— Вот я пришел заодно и посоветоваться... После отца твоего ты в нашем роде самый старший...

— А сколько недовольных в аалах красными!.. Сколько бродит по тайге! Собирайте, собирайте... Пусть грабят, пусть живут в свое удовольствие. И вот что, учтите... Минсуг еще не крепок. Губенков нетвердо сидит. Сотниковцы не все погибли. Остатки бродят по тайге. Это одно. Потом, Оловьев — это сила! Да еще собрать надо бродячих наших кызылов, хасов, бельтыр, сагаев, шоров', вот какая армия будет!

— У меня в отряде понемножку все они есть. А вот если больше силы собирать — где нам пока укрыться? Оловьеву-то хорошо, нашел надежное место — не подступишься...

— А ты места не знаешь? Хаза-тайга², Кюль-тасхыл...³

— Вот это да! — минутку подумав, воскликнул Серге. — Мало кто туда дорогу знает. И впадина

¹ Родоплеменные названия хакасов.

² Хаза-тайга — тайга-загон.

³ Кюль-тасхыл — высокогорное озеро.

между хребтами, как загон. И озеро пресное. Закрой туда проход — и жди сигнала.

— Туда и собирай!

Вдруг они услышали скрип калитки. Серге вскочил.

— Это Марик, — успокоил его хозяин и пошел открывать сени. — Где долго ходишь? Сколько тебе говорить! Все у Онис пропадаешь? — доносились до Серге из сеней и прихожей. — У нас гость, а ужина нет.

— Я же раньше все приготовила, дядя Пичон, как вы велели.

— Подавай... Ну, хорошо, Серге, пора и отдохнуть, — сказал, входя, Пичон.

На столе сменялись хыйма, сатырма, абыртхы¹. Еду и напитки вносила Марик, пятнадцатилетняя девчушка. Серге, тайком от Пичона, хищно поглядывал на нее.

На Марик трудно бым> не ааглядеться. Одни белокурые волосы ее, редкие у хакасок, привлекали к ней. У нее миловидное личико, серые глаза. Платье на груди у нее уже начинало бугриться.

Маленькая батрачка едва держалась на ногах от усталости, а хозяин требовал от нее все новых услуг.

— Марик, открой еще одну бутылку— Марик, давай холодной солонины... Марик, его тошнит, неси живее таз...

Серге, глаза на нее, стал шептать что-то на ухо Пичону.

— Оставь, — сердито ответил Пичон. — Зелена ягода...

Серге захмелел. Пичон раздел его и уложил на

¹ Хыйма — хакасская домашняя колбаса, сатырма — жареное на масле толокно, абыртхы — квас из толокна.

диван. Прошел к себе. В голове шумело. Сел за стол, положил перед собой бумагу, взял ручку. Письмо начиналось так:

«Ваше высокоблагородие, господин есаул Анемподист Николаевич Оловьев... Обращается к Вам полномочный представитель хакасского народа...»

Запели утренние петухи. Пичон и Серге прощались.

— Спрячь, — говорил Пичон, подавая заклеенный конверт. — Вручи лично.

— Знаю...

Выезжая из аала на выносливом карем бегунце, отобранном за Ахбаном у одного из койбалов, Серге встретил на лугу у дороги Пулата, снимавшего путы со своего пастушьего коня. Опасливо покосился. Пулат долго смотрел вслед Серге.

«Это же родственник Хапына. Когда он приехал? Не слышно было что-то».

Пулат смотрел вслед Серге, ожесточенно теребя ухо, была у Пулата такая привычка. Давным-давно, на охоте, разорвалось у Пулата ружье. Счастливо отделался незадачливый стрелок. Только синие пороховые отметины остались на распоротой мочке уха. И в минуты волнения рука Пулата сама тянется к уху, будто оно начинает свербеть...

Проводив Серге, Пичон вышел на крыльцо, присел на ступеньку. «А что, если этот русский действительно притворился? Отпустил бороду, прячется по степям. Надо, надо проверить. Такую возможность упускать нельзя!..»

Глава 8

Сагдай на притомившемся Буланом ехал по следам ушедшего табуна, искал его за горой Ог-

лах и день, и два. Сначала Сагдай увидел, что следы раздвоились. Внимательно осмотрев развилок, он решил, что большая часть косяков пошла к устью Чобата, впадающего в Ахбан, меньшая — косяка три или четыре — свернула к одной из маленьких степных речушек. Сагдай догадался — к устью Чобата лошадей ведет старый Гнедой жеребец, у которого в табуне самое многочисленное потомство. Остальные лошади, наверно, ушли за вороним жеребцом, который враждует с Гнедым.

— Надо — по большому следу, — решил Сагдай. — Эти кони могут уйти дальше. — А сам все думал: «Где Сабис? Что с ним?»

Стало смеркаться, когда Сагдай подъехал к какому-то безымянному ключику, всей воды воробью по колено. Конских следов он уже не различал и поэтому решил остановиться здесь и переночевать, чтобы на заре возобновить поиск. Он слез с Буланого, расседлал его и привязал к уздечке длинный волосяной аркан. Другим концом аркана обвязал себя. Достав вяленое мясо и сухие лепешки, Сагдай стал ужинать.

Степь — дом Сагдая. Из дому уехал — в дом приехал. Половину из своих сорока восьми лет он провел под открытым небом. До ближайшей деревни отсюда верст полсотни, а то и больше, так что уж лучше ночевать под открытым небом.

Пужинав скудным припасом и напившись из ручейка, для чего пришлось лечь на грудь и уткнуться носом почти в самое дно его, Сагдай пристроился спать.

Ночь была теплой. Его обступили тишина и мрак. Он лежал и смотрел на звезды. Белым табуном кочуют они где-то высоко-высоко, перемигиваются друг с дружкой. Вокруг мельтешила разная ночная мелочь. Комар назрйливо пищал над ухом, хлопали белесоватыми крыльями бабоч-

ки, в сухой траве шуршали мыши. Буланный ходил на веревке по кругу, выщипывая траву.

«Угу-у, угу-у!» — издали послышалась возня, и какой-то зверек жалобно заверещал. «Филин зайчонка закогтил», — догадался Сагдай. А потом над ним просвистели крылышки. «К реке с озер утки кочуют. Всем надо к реке, — думал Сагдай. — Вот и табун туда же ушел...»

Хоть и устал Сагдай, но в ночной прохладе мысли текли, как струи ручейка, и не давали уснуть. За девять лет заработал Сагдай у Хапына трех беспородных лошадемок. С кобылицей и нынешним жеребенком всего у Сагдая пять лошадей. Одна беда — косячный жеребец еще матку сосет. А по правде, Сагдай готов променять всех трех заработанных коней на одну кобылицу.

До сих пор Хапын за работу не давал Сагдаю кобылиц: отдаст — приплод пойдет не ему. Но разве Сагдай плохо служит Хапыну? В прошлые годы брал то, что дают, но нынче решился просить у хозяина жеребую кобылицу...

Снова ухнул филин, на этот раз близко, у ручейка. Сагдай повернул голову, увидел — будто две свечки, горят невдалеке глаза на темнеющем кусте. Не по себе стало Сагдаю от уставленно-го на него немигающего взгляда этих ночных глаз.

— Проклятый, зайцем не наелся! — Плюнул Сагдай и полез в карман за кисетом и трубкой.

Покурив, он уткнулся лицом в седельную подушечку и вскоре уснул. Но уши его не спали. Достаточно было фыркнуть Буланому, как Сагдай сразу приподнялся. Что беспокоит коня? Пригляделся — что-то маячит. Не кочка, не камень. Шевелится. Табунщик замер, затаился, продолжая наблюдать. Страх заставил Буланого подойти вплотную к хозяину. Сагдай вполголоса сказал

коню: «Тохта»¹. То, что маячило, пропало. Сагдай поискал глазами и увидел — маячит уже с другой стороны.

Табунщик протер глаза, снова посмотрел: «Тут, тут язва!» Тогда он резко поднялся на ноги, пронзительно свистнул. Тень качнулась и исчезла.

«Волк», — подумал Сагдай.

К полудню он наехал на истоптанную конскими копытами тропу, выходящую на основной след табуна. «Собираются косяки», — радостно подумал он.

Показалась белесовато-зеленая грядка низкого кудрявого ивняка, вдали она смыкалась с высокой сплошной стеной топольника.

— Здесь Чобат, а там — Ахбан, — еще больше обрадовался Сагдай. — Табун буду искать на полуострове... Найду ли?..

Устье Чобата было еще далеко, а Сагдай уже ощущал речную свежесть. Стало не так знойно, вокруг простирались зеленые луговины, блестели оставшиеся после весеннего разлива Чобата и Ахбана полувysохшие озеринки. Трава доходила до брюха Буланого. Пахло поздними цветами. В просветах между кустарником блестело чешуйчатое серебро речных плесков. Кричали дрозды, молотили перепела. Поднявшись на бугор, с которого был виден берег, Сагдай радостно вскрикнул. Кустарники здесь росли редкими купами и не закрывали от него реки. Кромка берега впереди была истоптана.

Лошади стояли по брюхо в воде, спасаясь от овода. Они мотали головами вверх и вниз, будто усердно молились. Время от времени кони взмахивали мокрыми хвостами, охлестывая бока, рассеивая брызги.

¹ Погоди.

Подъехав к берегу, Сагдай слез с уставшего Буланого, ржанию которого ответило враз несколько коней. Сагдай, с арканом, подошел к воде, выбирая сменную лошадь. Аркан свистнул, петля упала на голову игреневого коня.

Игренька уже не раз носил на своей спине табунщика, он покорно вышел на берег, дал надеть на себя уздечку и седло. И вот Сагдай медленно едет на Игреньке по берегу и считает стоящие в воде косяки.

— Полтабуна Гнедого здесь, — отмечает он вслух. — Вороной тоже привел сюда свои косяки, но все ли? Раз, два, три... А где Мухортый? Где его кони?

Доехав до самой «стрелки», где сошлись под углом воды Чобата и Ахбана, Сагдай не обнаружил недостающий косяк. Тогда он вернулся на бугор.

«Косяк не может пропасть, у косяка — широкий след, — думал Сагдай. — Где этот след? Может, кони убежали в аал?»

Стал припоминать, каких лошадей недостает. Потом махнул поводом:

— Торопись, Игренька. Отсюда до аала только двадцать верст.

Глава 9

Сабис, прихрамывая и опираясь на палку, вышел из юрты на солнцепек. За те дни, покуда он лежал в постели, перемогая боль, скулы его обтянулись, подбородок заострился, слишком просторным для его шеи стал воротник рубашки. Паренек все еще с трудом приподнимал правое, заплывшее веко. Левый, широко раскрытый глаз, то вспыхивал, озаренный чем-то изнутри, то терял свой блеск. Заковывал было к покосившемуся сараю,

под навесом которого заметил дедушку, вертевшегося точило, но, сделав шага три, остановился. У сарая вместе с дедом был и русский.

Русский принес грубо сколоченный ящик, видимо снятый им со своей телеги. Поводя бугристыми плечами, он вынес ящик наружу, опустил на землю. Что-то звякнуло. Великан распрямился, повернул широкое лицо к Сабису. Шевельнулись медные усы и борода, должно быть, он улыбнулся, голубые глаза смотрели ласково.

— Здравствуй, молодец! — пробасил он. — Уже совсем, можно сказать, поправился. Крепкий ты парень...

Сабис не все понял из сказанного, стоял и молчал, глядя Федору под ноги.

— Не понимаешь по-нашему, — вздохнул Федор. — А я вот по-вашему не могу. Поговорить-то нам с тобой, парень, вот так надо! — Русский коснулся бороды, показывая, мол, позарез. — Ну да ладно, это мы еще успеем. Окрепнешь, тогда уж хоть через деда побалакаем.

На крылечке избы показалась русская женщина в белой безрукавной кофточке, в пестрядинном переднике. Светлые волосы собраны в узел, одна щека в муке, руки тоже.

— Федя! — позвала она мужа. — Идите с дедушкой Хоортаем поешьте блинков свеженьких. Ты, Сабис, тоже иди.

А, Сабис опять промолчал, будто совсем ничего не понял. Дальше по двору захромал. Думал: «Какие эти русские — добрые или притворяются добрыми? Почему не уезжают? Что им надо от дедушки? И отца где-то нет».

Ушел Сабис в самый дальний угол двора, навалился на старый плетень, продырявленный во многих местах. В эти дыры лез бурьян, разросшийся с той стороны.

Варя еще несколько раз окликнула парня, приглашая к блинам, но он только покрутил головой в ответ. Федор и дедушка Хоортай прошли в избу. Дедушка что-то говорил, и его руки то и дело двигались, показывая то, чего не мог сказать язык.

— Ты один?

Сабис вздрогнул. Потом, когда увидел стоящего по ту сторону забора Тойона, невольно сжал кулаки.

А Тойон, добродушно растягивая губы в улыбке, смотрел прямо, и в глубине его зрачков нельзя было уловить ничего скрытного. Он облизнул верхнюю губу с чуть пробившимся на ней пушком, ухватился руками за плетень и, подтянувшись, перепрыгнул к Сабису. Подол его вишневой рубашки затрещал, зацепившись за сухой острый сучок. Он только беспечно махнул на это рукой, еще раз взглянул на мрачного Сабиса и подставил ему лицо:

— Ну, на — бей!

— Дал бы тебе в глаз, — сказал Сабис. — Зачем пугал Солового тая?

— Говорил ведь уже, пошутить хотел.

— А где мой отец? Что с табуном?

— Табун испугался, убежал.

— Кого испугался?

— Эти русские ехали мимо, стреляли.

— А зачем им было стрелять? — Сабис си-
лился сообразить, почему это ни с того ни с сего кто-то открыл бы стрельбу близ табуна.

— Не знаю. Наверно, худое задумали. Разве у кях узнаешь?

«Верно, — подумал Сабис. — Не узнаешь. Деду про меня не сказали...» — и доверчивее придвинулся к Тойону.

— А табун где?

— Твой отец погнался за табуном.

— Постой, постой, — Сабис опять отодвинулся от Тойона. — А отец знает, что я упал с коня? Почему молчишь? И сам ты меня бросил.

Он не сводил глаз с Тойона. Тот поднес палец ко рту, начал грызть ноготь.

— Не сказал, — выговорил наконец Тойон. — Сам испугался русского. Как он начал стрелять... Давай больше не будем враждовать, Сабис. Что хочешь? Все для тебя сделаю. Соловый тай будет твой. Знаешь, этому коню цены нет. Я поймал его вчера возле горы Куни.

— Соловый здесь? Ты его привел?

— Стоит дома, в конюшне. Тебя дожидается...

Глаза Сабиса разгорелись. Он даже забыл о больной ноге, неосторожно переступил и охнул.

— Вижу, любишь коня. Бери, насовсем. Только помни уговор — русские...

— Русская женщина мне глаз лечила, как о ней мне говорить плохо?

— Ну как хочешь. — Тойон шагнул к плетню, занес ногу, чтоб перелезть.

Сабис провел рукой по волосам, проговорил нерешительно:

— Хапын-ага не даст Солового тая.

— Даст, — сразу же спустился обратно Тойон. — Солового для меня растили. Как захочу, так и будет. — И протянул Сабису руку.

Сабис медлил с ответом-рукопожатием, на душе у него было нехорошо.

— А как же, — спросил он, — сказать напрасно на этого человека? Я его возле косяка не видел. Солового ты пугнул.

— Но он же стрелял, Сабис... Стрелял!

Тойон переминается, теряясь. Сколько времени приходится уламывать этого пастушонка! Он быстро-быстро перебирает в голове все, что еще мож-

но посулить Сабису. «Постой, стой, — вспоминает он. — А Марик-то!»

...Как-то весной, когда табунщики обучали жеребчиков-двухлеток, случилось Сабису промчаться на Соловом по улице аала. Звонко цокали копыта. Скакун, горячась, лебедем выгибал шею, волной стлал распушенный хвост. Гордо сидел Сабис на коне.

Проносясь мимо дома Пичона, он увидел Марик, тоненькую, гибкую, с белесоватыми косичками. Она стояла на крыльце и глядела на него через низкий забор. Сабис понял: любитесь им! Оглянулся. Марик все еще продолжала смотреть вслед.

Он стегнул Солового камчой и припал к его шее.

За аалом встретился Тойон. Поравнявшись, они сдержали коней.

— Какие новости, Сабис? — спросил Тойон.

— Что за девочка у Пичона-абыя?

— Марик... А что, нравится?

Сабис ничего не ответил, опустил глаза.

Теперь об этом разговоре вспомнил Тойон.

— Послушай, Сабис, — сказал он доверительно. — Я ведь знаю твою самую большую тайну. Хочешь, устрой встречу?

Сабис покраснел.

— Вижу, вижу, не скрывай. А ты знаешь, я ведь часто бываю у Пичона-абыя.

Сабис упорно молчал.

— Часто бываю, — повторил Тойон. — Хорошая!

Сабис куснул губу и вдруг тихо проговорил:

— А дедушку как обманывать?

Тойон растерялся.

— Нет, зачем дедушку обманывать? — наконец нашелся он. — Ты скажи, мы с Тойоном по-

мирились, я ему простил. Хоортай-ага поймет. А русские пришли и ушли. Нам ведь жить здесь...

Сабис вздохнул, помолчал. Потом сказал:

— Ладно. На тебя не скажу. Только слово держи.

В тот же день Хоортай-ага созвал соседей. Пришло человек двадцать мужчин и женщин. В юрте, куда они набились, стало шумно. Мужчины покуривали трубочки, закурили и многие женщины. Подшучивали и друг над другом, и над хозяином, с любопытством посматривали на рыжебородого алып, который, примостившись у двери, пришивал к Буркиной уздечке оторвавшиеся удила. Хоортай расстилал на полу для сиденияоблезшие талбахи¹. В центре поставил низкий стол.

Один из приглашенных раскрыл кисет и протянул русскому: «Закури». Федор поблагодарил.

Интерес соседей Хоортая к приезжим не был назойливым. Русским не докучали расспросами, хоть и не всем было понятно, как эта семья очутилась в их аале. Но Апах уже многим рассказал, что большой Федор обещал построить кузницу. Рассматривали починенную им уздечку. Женщины ласкали Зойку. Онис принялась заплетать ей косички. Широкое добродушное лицо женщины все время лучилось улыбкой. Черные брови то и дело взлетали вверх, две тугие косы позванивали приплетенными к ним серебряными монетками. Красное сатиновое платье с оплечьями из черного плиса было перехвачено в талии шелковой лентой.

Наконец все расположились вокруг угощений. Просто удивительно, как юрта Хоортая вместила всех, и никому не было тесно. Мужчины сидели, подобрав под себя ноги, а женщины — несколько иным манером, вот как Онис — одна нога под-

¹ Т а л б а х и — телячьи и козьи шкуры.

жата под себя, колено второй выставлено вперед.

Пулат, муж Онис, широкоскулый, остриженный под кружок, трунил над Хоортаем:

— При таком застолье, ага, считай, что от твоей козы остались рожки да ножки.

— А зачем ты последнюю-то козу зарезал? — допытывался Федор.

— В степи закон есть: гость приехал — угощать надо.

— Погоди, погоди, дедушка! Закон, говоришь, есть? Степной?..

Федор вспомнил: Пичон толковал про степной закон и грозил самосудом. А тут у Хоорта, который зарезал и сварил для гостя последнюю козу, — тоже степной закон...

— А много, дедушка, степных законов?

— Разный есть. Один закон вот... — Хоортай быташил из кармана мятую керенку — советские деньги еще не дошли сюда. — Вот самый большой закон...

Поглядел старик на Федора снизу вверх, будто проверяя: «А разве сам этого не знаешь?»

— Хм... Деньги... А много их у тебя было?

Старик замотал головой.

— Ну вот, стало быть, у тебя другой закон, — решил Федор. — А какой?

— Мой, Педор Павлыч? Вот такой рука — мой закон. — И он протянул кузнецу жилистую руку с узлами вен и твердой ладонью. Морщинки у глаз его собрались пучками.

Федор хлопнул Хоорта по вытянутой руке, крепко прижал ладонь к ладони старика и сказал:

— Вот такой закон один и есть. Других не будет.

— Почто не будет? Кто так делал? Ты?

— Не я, дед. Ленин.

Старик вопросительно уставился на Федора:

— Иленин, говоришь?

— Да, Ленин. — Федор показал на свою бугристую ладонь. — Ленин для твоих рук закон дал. Правильный закон.

— А ты видел Иленина?

— Видел. Вместе со мной он ходит. — Федор полез в грудной карман пиджака и вытащил газету «Соха и молот». На первой странице газеты был портрет Владимира Ильича Ленина. — Вот он.

Старик припал к газете, разглядывая снимок. Потом улыбнулся Полинцеву. Федор не понял, чему улыбается старик. Тогда Хоортай пошлепал себя по щеке, показал на лицо Ленина, на его прищуренные глаза.

— Такой наша степь понимает...

Газета со снимком Ильича пошла по рукам. Гости рассматривали снимок. Апах, сидевший с краю, бережно сложил газету, протянул Федору.

— Где живет Иленин? — спросил он.

— В Москве, — ответил Федор. — В Кремле... Оттуда новый закон по всей нашей земле пошел.

— Москва далеко, Москва одна, — задумчиво проговорил Апах. — Иленин надо каждый улус жить. В нашем аалсовете почему нет Иленина? Совсем пустой стена в аалсовете. Надо приходить в аалсовет, глядеть на Иленин. Его закон, его Совет.

— Правильно, Апах, — поддержал Федор. — А то еще есть такие, — он подумал про Пичона, но не назвал его. — Есть, говорю, такие, что забывают про ленинские законы, а называют себя «Советской властью»...

¹ Газета «Соха и молот» выходила в Минусинске. издавалась штабом партизанской армии Кравченко и Щегина.

Разговор на время замолк. А потом гости заговорили о другом.

— Твой казан, Хоортай-ага, говорит, что ты человек щедрый.

— А у скупого хозяина и казан скуп.

— Эй, сосед Пулат, это ты про кого? Про Хапына?

Все весело засмеялись. Хоортай перевел Федору шуточные речи гостей, и кузнец улыбнулся тоже.

Для русской семьи Хоортай поставил высокий стол, а около него — скамейку. Но Федор сел, поджав ноги, вместе со всеми мужчинами.

— Алып! Настоящий алып! — смеялся Апах, глядя на Федора снизу вверх. Ноги Федора затекли с непривычки, он смешно ерзал, вызывая смех соседей. И Зойка хохотала так, что раскачивались заплетенные по-хакасски косички.

Хоортай-ага приступил к обряду угощения.

Первые капли айрана, первые кусочки мяса были предназначены для хакасского божества Худая. Страхнув несколько брызг из полного стакана и полной миски в очаг и бросив туда же мясные волокна, старик перешел к божнице с неизменными в хакаских юртах Миколой и Власом на закопченных облезлых иконах: Миколу и Власу еды не дал, только подержал перед ними наполненную посуду.

Все гости были почетными, всех одел Хоортай-ага козлятиной. Зойке он положил в миску вареный язык.

— Кто язык ест — бойким на слово бывает. Так у нас говорят, — пояснила Онис.

Гости ели, хвалили угощение, благодарили старика. Потом мужчины и женщины снова закурили. Все были сыты, и Федор предположил, что на этом угощение закончилось. Но не тут-то было!

Встала Онис и пригласила всех к себе — пить чай.

Федор топтался, разминая затекшие ноги. Вара стояла в раздумье, поправляла шпильки в высоком узле волос. Онис быстро посмотрела на нее и сняла свой цветастый вышитый платок.

— На, носи, — сказала Онис, накидывая платок на волосы Вара, потом взяла Зойку за руку и повела с собой.

— Видно, надо идти, — развел руками Федор. — Закон степной, ничего не поделаешь.

У ворот ограды, опираясь на выструганную Хоортаем палку, стоял Сабис. Федор Павлович улыбнулся мальчику, но Сабис потупился.

Глава 10

Сколько паутины летает над степью в ясный день, сколько стрекоз реет! Уходит август, кончается лето.

Купол неба все еще высок и синь, но меньше кучевых облаков, и с ними теперь уже не спутаешь далекие Саяны. Вон они синеют, каменные зубцы, а на них что-то белеет: то снег на Саяны выпал.

Оросительные каналы, отведенные от Чобата на поля, сейчас сухи. Днища их заросли бурьяном. Полосы ячменя и овса, похожие на белеющие плесы самой речки, скоро запросят серпа и жнейки.

Конец лета в скотоводческом аале замечен не тем, что начинается жатва: хлебов сеют мало. В это время степняки обычно стараются получше нагулять скот, закончить сенокос на лугах, подготовить к зиме скотные дворы, новую упряжь.

Днем и ночью идет дым из юрты во дворе Хапына — это значит, что батрачка Ату, у кото-

рой от огня постоянно красные веки, гонит араку. А коль начали у Хапына готовить араку, — значит, скоро будет Хапын собирать помочь, иначе зачем понадобилось бы столько араки.

Придет весь аал — старые и молодые, и за день переделают уйму работы. Никто не возьмет за нее никакой платы, но хозяин должен не поскудиться на угощение. Таков обычай...

Помочь собралась на солнцевсходе, и в просторной ограде Хапына сразу стало тесно и шумно. Все уже знали, что придется делать. Мужчинам — вить веревки и арканы, женщинам — застилать и катать кошмы. Веревки из волоса и кошма пойдут на продажу, на них большой спрос в русских селах.

Онис — мастерица делать кошмы. На ровной утрамбованной площадке она расстилает мешковину, другие женщины ей помогают. Тут же, рядом, молодые девушки березовыми прутьями взбивают принесенную из амбаров шерсть, чтобы вся она была одинаково пышной. Свистят прутья, расхлестывая в пух слежавшиеся шерстяные клочья. И щебечут, будто ласточки, девушки.

Онис требует, чтобы для застила ей подавали шерсть различных цветов. — по черному полю будущей кошмы она пустит серые и желтые узоры.

— Ату-у! — кричит она. — Скорей неси горячей сывортки.

Батрачка Ату спешит с двумя ведрами. Онис обильно поливает застил, уплотняет его и накрывает сверху другим куском мешковины. Женщины, сев на корточки, плечом к плечу, накатывают застил вместе с мешковиной на деревянный валик, концы стягивают туго-натуго бечевками.

— А теперь начали! — командует Онис.

Ползая по земле, женщины долго катают шер-

стяной кругляк, ударяя его о забор. Время от времени Онис просит еще полить сывороткой, чтобы шерсть скатывалась плотнее.

— Больше, больше уплотняйте, я скажу, когда будет довольно!

Марик с подружками подтаскивает из амбара шерсть. Когда, сбросив ношу, она стремительно поворачивается, чтобы снова бежать в амбар, так и кажется, что ее косички, разлетевшись, вот-вот оторвутся.

В другом конце двора, где кучами пенька и конский волос, мужчины вяют арканы и вожжи. В заборе с наружной стороны вделано пять железных рукояток, стержни их пропущены насквозь и заканчиваются крючками. Возле каждой рукоятки — крутильщики. Еще пятеро — по эту сторону забора. Они цепляют на крючки концы начатых веревок и тянутся с ними, все время наращивая пеньку и волос. Арканы постепенно удлиняются.

Еще одна группа пришедших на помощь сортирует сырцовые овчины.

Федор Павлович пришел тоже. Ему не хотелось огорчать старого Хоорта, который хоть и не жаловал бая Хапына, но одобрял помощь. «Помогай надо», — говорил старик. Федора радовала сама возможность поработать сообща.

Русскому доводилось прежде вить конопляные веревки, но волосяных арканов делать он не умел. Присмотревшись, попробовал он и сам свить аркан.

Подошел Хапын. Лет пятидесяти, с покатыми плечами, короткой шеей, массивной головой, он не доставал Полынцеву до груди. Из-под полей бурой фетровой шляпы глядели цепкие черные глаза. Хапын взял изделие Федора в руки, с сомнением покачал головой: «Аркан порвется». Он велел привести и захомутать лошадь. Серединой

аркана захлестнули столб, а концы привязали к гужам хомута. Хапын взял в руки бич и вэмахнул им. Лошадь сильно рванулась, но аркан ее удержал. Бич свистнул опять, и снова лошадь не смогла порвать аркана. Так и не удалось посрамить приезжего русского. Бросив бич, бай, ни на кого не глядя, отошел.

«Видал наших?» — усмехнулся Федор Павлович. Он искал, тут ли Варя. Нашел ее среди женщин, катающих кошмы. И Зойку увидел, скачущую верхом на прутике по двору вслед за такими же, как она, девчушками.

На помощь, как оказалось, пришли не все, и жена Хапына, толстуха Тапчи, стала громко осуждать неявившихся.

— Кто видел, — говорила она, — чтобы жена Апаха помогала когда-нибудь другим? А ленивая Кычин, наверно, еще потягивается в постели?

Тапчи, в ярком платье, стояла, гордо подбоченившись. Из-под черного вышитого платка, завязанного назад концами, на грудь выпущены две черные косы, соединенные между собой нитями бвсера. Она постукивала ногой об ногу, будто специально показывала женщинам искусно вышитые Домной сапожки. Тапчи пересчитывала женщин, как чабан пересчитывает отару.

— Жена Апаха тяжелая, — не смолчала Онис. — Где же ей идти на помощь! А моя золовка Кычин ушла пасти.

— Ладно, едоков меньше, — пробормотала Тапчи. — Ох, чем накормить столько народу? — вздыхала она, царапая затылок через платок.

В полдень хозяева тут же, во дворе, угощали всех участников помочи. Ату уже подносила араку прямо в ведрах.

Онис, выпив полчашечки теплого напитка, недоуменно посмотрела на оставшуюся араку:

— Такой араки много в Чобате! Добавила бы сюда, хозяйка, — протянула она свою чашечку. — Тахпах за это спою...

— Пой, Онис! — откликнулось застолье.

Онис поправила платок, повела глазами, запрокинув слегка голову, и запела высоким голосом:

Закипит сердце — песню петь надо.
Запоешь песню — мысли легко приходят.
Араку выпьешь — не запеть нельзя.
А споешь песню — ноша легкой будет.

— Ай да Онис, как складно поет! — одобрительно закивали женщины. Лицо хозяйки расплылось...

— Давайте споем песню каталыниц войлока, — предложила Онис.

И над застольем поплыла озорная, насмешливая песенка:

Муженек с кошмы все гонит.
«Не нужна, — он говорит, —
Вся овцой насквозь пропахла».
Спать ложиться не велит...

Все засмеялись.

— Ай! Вот черт... Клещ! — вскрикнула одна из женщин. — Да как больно укусил... — Она показала ползущую по руке бурую сплюсненную букашку.

— Весенний клещ? — удивленно воскликнула ее соседка.

— Это из тюка с шерстью, — сказала Онис.

— А тощий какой!.. И не сдох до сих пор...

— У Хапына и клещи в хозяина, — отрезала Онис. — Такой вопьется — не оторвешь.

Смех перекинулся и к мужскому застолью...

Встал хозяин, он нисколько не хмельной, зыркнул глазами из-под широкой шляпы — тут ли ры-

жий русский? Облегченно вздохнул, и заколыхался его живот, обтянутый шелковой рубашкой. Рядом с Хапыном Пичон Почкаев стоит, пиджак черный городской одергивает да поглаживает пухлой рукой черные лоснящиеся волосы, советует: поговорить с народом надо.

Всем поклонился Хапын.

— Люди аала! — начал он. — Вы сегодня хорошо поработали, много сделали, и поэтому губы у вас в саде. У трудолюбивого губы всегда в саде, это у ленивого они сухие. Пейте, угошайтесь вволю. А такую помочь каждый может собрать. Пособлять все придем...

— И ты придешь, Хапын-абый? — спросил Апах.

— И я, — подтвердил Хапын.

— А разве медведь брат корове?

За столом несмело засмеялись.

— Эх, Апах! — Хапын стал красным, как клюква. — Ум крепко, а язык коротко держи. Вижу тебя наскврзь. Скажешь: где найду столько дела, чтоб весь аал занять, где возьму угошенья всю помочь накормить? И у тебя на будущую осень все будет, только услышанное в ушах сохраняй, увиденное в глазах оставляй...

Сельчане слушают, но не понимают, куда клонит Хапын свою речь.

— Не о себе одном, обо всех забочусь. Много машин хочу купить в Минсуге. Сеялку, косилку «Мак-Кормик», жатку. А есть еще машины, которые годятся скотоводам: сепаратор, маслобойка. Разве машинам не одинаково, на кого работать — на русских или на хакасов? Будут машины — станем помочь всем аалом каждому делать...

— Правильно говорит Хапын-абый, — поддержал его Пичон, приподнимаясь на носках и стараясь казаться выше ростом.

Пулат почесал за ухом, поглядел на соседей по застолью. Апах с отсутствующим видом цыкал слюну через редкие передние зубы. Хоортай-ага оглаживал белую с чернью бороду.

— Нам не на что машины покупать!

— Верно, верно, — оторвал от бороды пальцы Хоортай. — Машины — добрая покупка, только...

— Но ведь сказано же, — вмешался Пичон, — что машины купит Хапын-абый, а вы на первых порах тратить совсем не будете. От вас всех только одно и требуется: говорить, что машины принадлежат всему аалу, что у нас товарищество...

— А-а, товариство! Хапын-абый хочет сделать товариство! — загомонили за столом. — Чахсы! Пусть делает...

Мысль о создании «машинного товарищества» гвоздем засела в голове Хапына. «Дальновидный этот Пичон-айна, — думает Хапын. — Про товарищество подсказал».

Не терпится Хапыну заполучить поскорее машины. Тогда он крепче приберет к рукам лучшие луговые сенокосы и хлебородные участки степи. Чтобы все опять было по-старому. Создаст «товарищество» — крепче зажмет в руке свой сеок¹.

Люди аала угощаются, думают над словами Хапына о русских машинах, а хозяин уже договаривается с Пичоном, как начинать.

Глава 11

Солнце уже садилось, когда Федор и Варя вернулись во двор Хоортая. Шли к крылечку избы, закатные лучи были им в спину. Тень Федора, опередив его самого шагов на десять, первой коснулась ступенек.

¹ Сеок — род.

Сели на разбитых косых приступочках. Все равно в избе нечего делать. Варя, помогавшая **ка-
тать** кошму, потирала красные руки.

— Ошпарились, поди? — спросил Федор.

— Нет, но горят.

— Да-а, «помочь»! Сколько заработала? — одной половиной лица улыбнулся Федор.

— А ты сам, Федя, сколько?

Оба засмеялись.

Прибежала Зойка, вертя головой. Две белесые косички на затылке у нее дрожали, как хвостики. Глаза быстрые, и то в них словно солнышко сияет, то будто тучка бродит. Затормошила отца и **мать:**

— А мне Марик колечки показывала. Блестят... Тятя, мы совсем приехали?

Федор, слегка отодвинувшись от Вари, молча потрепал Зойку по льняным волосам. Мать **отве-
тила:**

— Нет, доченька, еще далеко нам ехать.

— Тятя, а тятя? — снова подергала его Зойка за рукав. — Давай поедem домой... Дедушка...

Вскинулись разлатые брови Федора, дрогнули кончики щетинистых усов. Он прижал Зойку к себе, она примолкла. Варя провела рукой, на которой все еще оставались красные пятна, по глазам, будто удаляя соринку.

— Беги, доченька, играй, — отстранил от себя Зойку отец.

Зойка знала, отчего отец стал вдруг угрюмый. Нечаянно вырвалось у нее то, о чем в семье знал **каждый** про себя, но не говорил.

Зойка пошла через двор, оглянулась. Мать и **отец** сидели будто каменные.

Солнце за аалом совсем опустилось на степь, и лучи от него протягивались теперь снизу вверх. Оно как бы выстреливало их пучками в покороб-

ленные, сухие как порох, крыши аала и в сизые облака, что начали вечерний перелет.

— Помнит Зойка дедушку... Жалко, я опоздал, — тихо тириговорил Федор. — Подлец Харбинка! За что он его?

Варя придвинулась к мужу, положила ему руку на плечо:

— Павла Васильевича теперь не вернешь...

— Ладно, Варя, — осторожно снял ее руку Федор.

Варя поняла, что мужа нужно оставить одного. Коснувшись щекой его щеки, она вошла в избу, загремела там посудой.

«Домой... — повторил Федор в уме просьбу Зойки. — Нету того дома, доченька. Туда не вернемся...»

Далеко-далеко, в молодость, в детство увели Федора прихлынувшие воспоминания...

«Федя-Медя» — дразнили ребятишки на руднике «Улень» рыжего сынишку рудничного мастера. Перестали дразнить после того, как Федя самостоятельно выковал себе коньки «сиегурки» на зависть всем тамошним подросткам.

Рудник они с отцом покинули после того, как умерла мать, а сам отец заболел чахоткой. Приехали в большую пристанскую деревню на берегу Енисея, нанялись к Самохвалову, метившему в купцы. Отец сначала за пчелами на пасеке ходил, а как окреп на вольном воздухе, поставил Самохвалову мельницу на небольшой речке. У Федора уже усы пробиваться стали, да не в том дело. И Фролка, его одноклассник, сын Самохвалова, мог зашипнуть свой ус над верхней губой, но Фролка был хлипким, а Федьку сила распирала. Лет до пятнадцати был он невысоким крепышом, а потом вдруг сразу вымахал, да так, что уж и на отцов-

скую лысину сверху поглядывал. А «плечей хватало», как шутил отец, и для такого роста. От отца кузнечное мастерство перенял и у Самохвалова же в кузнице работал.

Однажды Касьян Самохвалов снарядил баржи, справил Фролке отвальную.

«За товарами Харбинскими отправляю, — захлебывался Касьян. — Даст бог, в Харбине дом купим».

И «купили». Фролка вернулся в одних подштанниках, прокутив все, с чем его отправил отец. С тех пор закрепилась за ним кличка — «Харбинка».

— У голопузого-то Федьки золотые руки, — говорил старший Самохвалов, — а твои никакой пользы приносить не способны...

И Фролка возненавидел Федора...

Возвращался однажды Федор из кузницы после работы. От пиджака, от рук, от волос пахло **дышом**, угарной железной окалиной. Не знал он, **что** лицо его чумазо — трогал его черной от сажи пятерней. Как обычно, высматривал он на дворе работницу Самохваловых — Варюшу, а она тут **как** тут. Несет Варька телятам пойло и пестрядиновую юбку повыше подоткнула, чтобы подол ие облить.

Весна еще не набрала силу, вечер прохладный, а девчоика идет босиком, и ступни у нее красные, **что** лапы у гусыни. Икры тоже красные, в **пупырышках**. Ведро в руке тяжелое, большое, а Варька маленькая, хоть и туго сбитая. Как ни откидывает др гую руку, а ведро клонит-таки Варьку на один бок. Вот она краешком глаза заметила Федьку и повернула к нему свою косатую голову. А в глазах ее серых, будто подернутых рябью озеринках — не поймешь, то ли просьба, то ли над ним усмешка.

— Помоги-ка, чумазый, ишь, какой вымахал, а нет чтоб пособить.

Федька не знал, куда девать свои большие руки и ноги, смущаясь, пошел к Варьке, неловко взял у нее ведро с пойлом и понес в коровник. Варька семенит следом, и он спиной чувствует ее усмешку: «чумазый, чумазый».

Хорошо, что в коровнике полумрак и Варька не видит его лица. Он ставит ведро, не глядя на девушку, выходит и сталкивается с Фролкой.

С минуту они смотрят друг на Друга. Фролкины зрачки колючи, как шилья, не укрылось от них, что жарко Федькиным щекам. Молча смерили парни друг друга взглядами, потом Федька обошел Фролку, как обошел бы столб. Ноги у Фролки и впрямь будто к земле приросли — ни вперед, ни взад.

В дверях коровника показалась Варя с пустым ведром, и Фролка обдал ее искрами, что метнули его глаза. Нижняя губа его прыгала, он что-то хотел сказать, но вдруг закусил ее, повернулся и пошел быстрым шагом к большому самохваловскому дому. Федька подошел к телеге с бочкой, вытащил затычку из отверстия в днище, чтобы поплескаться из бочки водой, смыть с лица и рук кузнечную копать. А может, щеки хотел остудить Федька?..

Варюша от темна и до темна кружилась в работе, как мельничное колесо: носила воду, доила коров, стряпала, стирала, наводила чистоту в самохваловском доме. Узнал Федька, что из родных у нее жива только мать, и та редко приходит из соседней деревни.

Как-то в воскресенье, когда хозяева ушли в церковь к обедне, Федька опять встретил Варю во дворе. Спросил, почему она в праздники не ходит на деревенские игрища. «А мне с книжками

не скучно, — ответила она. — Люблю читать». — «Про что хоть читаешь-то?» — спросил парень. — «Про все, Федька! — Голос Вари, до этого приглушенный, теперь зазвенел, как ручей, прорвавшийся через запруду. — Про людскую жизнь, про разные страны, а то еще про старинных людей. И вот чудно: одни книжки просто написаны, а другие складно-складно. Как песня. Ты послушай...»

В руках у Вари была небольшая книжка. Девушка открыла страничку, заложенную соломинкой:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Читала, и щеки розовели, а когда отрывалась от книжки и взглядывала на Федора, глаза ее будто туманцем были подернуты.

Нередко помогал с тех пор Федька Варю управляться с самохваловскими коровами, свиньями. Варя тоже нет-нет да и прибежит в кузницу, где Федька работал с отцом, принесет вкусных пострипушек или холодного молока.

Но чаще и чаще, когда Федька встречался с Варей, возле них появлялся Фролка. И случилось неизбежное: на гулянье у мельничного пруда Федор и Варя услышали за своими спинами задыхающийся яростный шепот Фролки: «Путается Варька с ним без венца...» Кузнец остановился, сказал Варю: «Обожди», — и на глазах парней и девчат, рывком подняв Харбинку над головой, сбросил его в пруд.

Утром Фролка уехал куда-то недели на три.

А в канун его возвращения Федор и Варя оставили дом Самохваловых. Вскоре они поженились и переехали на выселок этой же деревни. Там и родилась Зойка.

Перед самой свадьбой Вари Харбинка уговаривал ее не выходить замуж за Федьку. «Скажи, слово, из-под венца тебя увезу», — молил он. Сам весь еще больше почернел, осунулся, глаза как угли. Клялся Варе, что слух нехороший про нее и Федьку распустил с горя, из ревности, а потом и сам жалел об этом, места не находил.

— Прости, Варька... Люблю я тебя... с тех пор еще. — Он теребил ворот голубой шелковой рубашки. — Поверь, с тех пор...

Варя заметила, что глаза его, уже не шальные, а печальные, вдруг посветлели от слез. И поверила: не врет Харбинка. Даже тронула его за плечо — утешить захотелось.

— Ладно, Фрол, — сказала она. — Ладно... За то, что обидел меня тогда... Не знаю, может, и простила бы... Да что тебе толку?.. Федора люблю... Его... За доброе — спасибо тебе. За книжки...

И Харбинка как будто отстал от Вари. Но через соседей узнавал, как живут молодые Полынцевы, и не раз появлялся на выселке, найдя какое-нибудь дело.

Началась германская война, и Федора взяли в солдаты. Сражался он на Карпатах, брал Перемышль, был тяжело ранен в грудь, лежал в лазарете. Когда его выписали, он приехал домой. Окрепнув, Федор вступил в Минусинский отряд Красной гвардии.

Харбинка на фронте не был, хотя мобилизовали его одновременно с Федором. Самохваловы были из казаков, поэтому попал Харбинка в училище казачьих офицеров. Выпустили его хорунжим и послали к атаману енисейского казачества Сотникову. Стал Харбинка взводным в Красноярском дивизионе казаков.

А Федор встретил известие об Октябрьской

социалистической революции в Красной гвардии в Минусинске. Отряд, в котором он служил, помогал первому Совдепу наводить большевистский порядок в городе и уезде. Тогда и Петрицкий сбежал, и казаки попробовали поднять мятеж. **Атаман** Сотников, вместо того чтобы выполнить приказ губисполкома о разоружении, вывел дивизион из Красноярска и повел на Минусинск, вокруг которого в станицах были сосредоточены основные силы енисейского казачества. В своих воззваниях он призывал станичников «встать на **защиту** Родины от захватчиков-большевиков».

Встретив неожиданно сильный отпор красногвардейцев, Сотников отступил. На помощь красногвардейцам Минусинска пришли рабочие угольных шахт и медных рудников.

В бою удалось захватить в плен большую группу сотниковцев, и Федор узнал Харбинку.

Сидел Фрол Самохвалов в минусинской тюрьме. Ждал расстрела. Злился на атамана, который не сумел тогда удрать. А пуще всего — на Федора Полынцева, так как это он, Федор, конвоировал Фролку в Минусинск.

Уцелел тогда Харбинка. Чехословацкий корпус в июне поднял мятеж по всей линии Сибирской железной дороги. В Красноярске чехи помогли эсерам взять власть. Опять объявился Сотников. Минусинский Совет пал. Схваченных большевиков казаки бросили в ту же тюрьму, из которой вышел Харбинка.

Вышел он и стал искать Федора Полынцева, хотел расправиться с ним. Карательным отрядом командовал. Но Федор с красногвардейцами пробрался в лес за Ачинском, в партизанский отряд Петра Ефимовича Щетинкина. Крепко судьбу свою с тем отрядом связал он. Бил белочехов и колчаковцев, проделал не один таежный поход.

Харбинка с карателями не раз приезжал на выселок. Хорошо, что свекор укрыл Варю и Зойку на неизвестном Фролке таежном зимовье.

А вот отец Федора не уберется, попался в руки карателей уже перед приходом партизан. Допытывались казаки про Федора, но старый кузнец так ничего им и не сказал. Каратели расстреляли его. На выселке говорят, что это был отряд Фролки.

Одной думой жил с того дня Федор — отомстить!

Но где он изловит Харбинку? Как сквозь землю провалился!

Уже и Сотникова схватили и поставили перед ревтрибуналом. И самого Колчака спустили в ангарскую прорубь. А недобитки из белой орды все еще прячутся в глухих местах...

Вот о чем вспоминалось сейчас Федору.

И он видит себя темной ночью — с четвертью керосина в руках и слышит тогдашние свои мысли: «Не нашел самого, так спалю все имение самохваловское... Под корень выведу!»

В глазах Федора — зарево...

Глава 12

Есть над Чобатом глинистый крутояр, в котором стрижи наделали видимо-невидимо норок. В одном месте спуск к реке положе. Там вытоптана наклонная тропинка, по которой женщины ходят за водой. С боков тропинка заросла крапивой и дикой коноплей. Сюда весь аал свозит навоз, вот и вымахали тут эти сорные растения в рост верхового. Пережидают в них жаркое время дня воробьи и скворцы — ни ястреб, ни коршун не увидят их в таких зарослях. А когда в конце лета поспевают семечки конопли, клевать их прилетают и подросшие перепелиные выводки.

Сабис осторожно, чтобы не обжечься о крапиву, спустился пониже и спрятался в конопле, неподалеку от тропинки. Смотрит на вершину яра. По ней, от каждого огорода, к этому единственному спуску проложена отдельная тропинка. Сабис следит за дорожкой от усадьбы Пичона, протоптанной подошвами Марик: «Не обманул ли Тойон?»

Солнце уже закатывалось за Чалбах-тигей — длинную плоскую гору, обрывистый склон которой навис над аалом с северо-запада. Низ Чалбах-тигея был в тени, а верх горел багрецом, будто кто-то пустил там пал, и этот пал пляшет сейчас и извивается огненным змеем на самом гребне обрыва.

Сабис смотрел на полыхающие закатным пожаром зубцы Чалбах-тигея и не мог оторвать глаз.

Вдруг он услышал песенку и радостно дрогнул. Он увидел наконец на тропинке маленькую гибкую фигурку Марик. Девочка с коромыслом опустилась вниз, к речке. Коромысло слишком длинное. Оно все время сползает то вправо, то влево. Ведра болтаются. Но Марик — ловкая, она и на неудобном коромысле удерживает их. Передернет плечиком — и коромысло на месте. Бодро топают по каменистому спуску ее ноги, обутые в старые сапожки.

«Трийон не подвел. Сдержал свое слово. Марик послал!» — встрепнулся Сабис.

А Марик, как обычно, шла и напевала, улыбалась своей песенке, и с ее круглых щек не сходили ямочки.

Потом Сабис увидел — Марик нагнулась, глубоко погрузив в воду сложенные ковшиком ладони, и замерла. Потом она разом выбросила их из воды, подняв тучу брызг, и засмеялась. «Поймала пескарика, — догадался Сабис. — Сейчас бы встать перед нею на тропинке, заговорить...» Какие слова он скажет Марик?

Набрав воды, Марик уже шла в гору с полными ведрами. Вот еще немного — и она поравняется с кустом, за которым ждет Сабис. Еще шаг и еще... Но Сабиса сковала нерешительность.

Он пропустил ее мимо. Видел, что ей трудно взбираться вверх с тяжелыми ведрами. «Сейчас... — заколотилось его сердце. — Сейчас догнать, помогу ей...»

Но в это время сверху раздался окрик Пичона:

— Мари-ик! Где ты там пропала? Поторопись, Марик!

В отчаянии Сабис рывком бросился ей вслед, но разбередил резким движением недавний вывих и упал. Пока он поднимался, Марик уже взошла на горку.

«Ну, оглянись, оглянись же!»

Марик не обернулась.

Деда Сабис застал в юрте. Старик сидел на полу, поджав ноги. Его сгорбленная спина то сгибалась, то выпрямлялась. Ходуном ходили лопатки под ветхой рубахой. При свете жирника он что-то мастерил. Пахло кожей. Сабис пригляделся — новое седло. Обернувшись на скрип двери, дед спросил:

— Где так долго ходил? Ногу не бережешь...

— Там, — неопределенно показал рукой Сабис.

— Это седло будет твоим, Сабис, — немного помолчав, сказал многозначительно Хоортай. — Проси у матери ее монетки с дырочками, которые она к косам подвешивает, и я отделаю седло серебром.

Сабис удивился: «Откуда дед узнал про коня?!»

— Смотри, никому ни слова. Хапын-ага дарит тебе Солового тая, — таинственно сообщил дед. — Сам сказал мне. Ну, что же ты не радуешься?..

А скажи, палам, все-таки, кто тебя с коня сбросил?

Сабис молча опустил голову.

Хоортай сидит, поджав ноги, трубку он не выпускает из зубов.

Сагдай только что уселся против тестя и трубку ко рту подносит не часто. Другим он занят — рассказом, как потерянный косяк искал.

— Когда нашеЛ девять косяков, — хрипло говорит Сагдай, — стал думать, где же десятый. В степи не видел, возле Чобата тоже нет. Поехал в аал, к Хапыну-абыю. По дороге думал, если не найду хотя бы следы, не миновать мне тюрьмы.

Он неуклюже сидит на искривленных постоянной верховой ездой ногах, короткое туловище его слегка раскачивается. На смуглом лбу его блестят капли пота. Лучше бы с дюжину необученных коней заарканил он, чем вот так рассказывать...

— И я, Хоортай-ага, следы увидел и узнал. Вверх по Чобату они вели, правым берегом. Кони в косяке некованные, жеребята есть. А у Мухортого жеребца копыто с трещиной. Но были там следы двух чужих лошадей, с подковами. Воры на них ехали.

Сагдай передохнул, затаился.

— А потом следы от Чобата круто повернули к Ахбану. Воры загнали косяк в воду. Вброд кони реку перешли. Я тоже переехал Ахбан на Игреньке. На том берегу косяк гнали по дороге, но потом по ней прошло коровье стадо и конские следы затоптало.

— Целый косяк гнали. Может, видел кто? — в голосе Хоортая тревога, в глазах — гнев.

— Расспросил я пастуха. «Тут, говорит, каких-то коней гнали, сам видел». — «А куда гнали?» — «Вверх по Ахбану». — «А не знаешь случайно, спрашиваю, откуда эти люди? Кто они?» —

«Лучше бы, говорит, об этом помалкивать. Все равно тебе, рол¹, коней своих не вернуть, в Хаза-тайгу угнали». — Сагдай сделал глубокую затяжку. — Когда узнал про Хаза-тайгу, приехал в наш аал, к баю Хапыну. У него председатель Пичон сидел...

— Что же он делал у Хапына?

— Араку пили. «Заройся в землю, залезь на небо, — сказал мне Хапын-абый, — но чтоб косяк нашелся». А Пичон налил мне араки и спросил, что я узнал. Мне что-то не понравилось, как Пичон спрашивал. Я ничего и не сказал. «Доехал, говорю, до берега. Следы у реки кончились. Наверно, косяк за Ахбан переправили». — «А кто, по-твоему, воры?» — «Откуда могу знать?» Тут Хапын-абый рассердился. «За что, говорит, Сагдай, я тебя и твою семью кормлю? Сабису твоему Солового тая подарил, а ты потерял лучший косяк табуна! Ищи опять, приказывает. Не найдешь — сядешь в тюрьму». А Пичон еще мне араки подносит и говорит: «Выкупишься, не горюй». — «Чем я могу выкупиться?» — спрашиваю. «Чем? Кобылицей... У тебя, — говорит Пичон, — есть на Красном озере молодая ладная кобылка...» Сам подмигивает...

Трубка в зубах Хоортая шумно пыхнула, старик пробормотал что-то, похоже, выругался.

— Понял я, это он про Кнай, — поперхнулся Сагдай дымом. — Что же мне делать, Хоортай-ага? Косяк искать — смерть искать. Не будет косяка — тюрьма будет... От тюрьмы надо откупаться дочерью. Ой, палам Кнай!.. — Плечи табунщика вздрогнули, он закрыл лицо руками.

— Кнай от нас никуда не пойдет, — проговорил старик твердо. — А косяк пусть сам хозяин

¹ О о л — обращение к мужчине.

ищет... Наверно, они вперед тебя узнали, где кони. Тебя испытывали... И то, что ты про Хазатайгу промолчал, это хорошо. Кто из аала помог бандитам — мы не знаем. Вот и надо молчать...

Глава 13

Федор ходил по аалу, примериваясь, где поставить кузню. Постоит возле чьего-нибудь двора — голова вровень с воротной перекладиной, — поерошит узластыми пальцами свои огнистые волосы, хмыкнет и двинет дальше. Это место ему не ладно, то — не годно.

Был полдень, но уже не такой жаркий, как тот, когда он подобрал в степи Сабиса. Глянул на юг и увидел далеко-далеко за дрожащим маревом Саяны. Самые верхние зубцы их белели.

Прямо на Федора, посередине улицы, двигался большой воз со снопами. Натужно скрипели колеса телеги. Буланый мерин при каждом шаге в оглоблях кланялся мордой. Покачивались плотно уложенные и придавленные сверху бастриком пшеничные снопы. А на бастрике сидел Апах в сборчатой рубаше из некрашеного холста, простоволодый, с запутавшимися в черных патлах соломинами.

— Изеннер!¹ — крикнул Апах, стрельнув глазами в Федора и натягивая вожжи. — Тарова, труг!

— Зачем снопы-то в деревню везешь? — спросил Полынцев. — Молотил бы в поле на гумне...

— Наш аал в поле не молоти. Ахбан замерзай — там на льду ток делай, — ответил Апах.

— А до тех пор хлеб в кладу уцелеет?

— Кто его знай! — озабоченно вздохнул Апах.

¹ Здравствуйте!

Федор посмотрел вокруг. И у других хозяев на задворках тоже торчали пшеничные и ячменные клады. Они казались небольшими по сравнению с кладью на задворках Хапына. Туда медленно подходили тяжелые возы. Укладчики снимали с них тугие снопы и, вздев на рожки деревянных вил, подавали наверх.

— Чудно у вас, — сказал Федор, — клады ставят в деревне, всяк у своего жилья, — и перед глазами его возник пылающий двор Самохвалова. Он даже вздрогнул — таким отчетливым было то, что сейчас представилось ему: пляшущие языки пламени, золотая жара углей. — Вдруг ненароком подпалите!

— Зачем такой слова говоришь? — завертелся на возу Апах. — Снопы дома — душа спокойный...

«Нельзя ставить кузню по этому порядку, — сказал себе Федор. — Может, искра из трубы хозяйского дома прилетит и пожару наделает, а свалят на кузнеца. Есть у них такие ловкачи...»

— Ну, вези, Апах, урожай. — Федор отступил от воза. — А вечером приходи, посоветуемся, где лучше кузницу строить...

— Зачем вечером? Апах сейчас тебе говори. — Возчик приподнялся, показал рукой на пустырь за двором Хоортая. — Там строй кузнис. Чахсы место. В обрыве, однако, камень горючий есть. Аларчон говорил, тот камень айна сидит, Тагэзи...

— Камень горючий — это каменный уголь?

Апах увидел: Улуг Педор — так он называл кузнеца со дня их первой встречи — обрадовался, как мальчишка.

Двор обнесен изгородью из редких жердей. На самый высокий кол привешена застреленная

ворона во устрашение ее жадным сородичам. Принял меры хозяин, чтобы вороны и сороки не расклевывали кошмы, которые Онис просушивает на заборе. Кошмы эти не свои — катали их во время помочи у Хапына, но с ними еще много возни.

Онис в красном платье сидит на корточках. Платье-балахон закрыло ей ступни. Можно подумать, не женщина, а колокол это. Правая рука Онис ходит, как рычаг, туда-сюда, туда-сюда крутит маленький жернов. А в левой зажата горсть зерна. Пшеницу на лепешки мелет Онис. На ее смуглом гладком лбу блестят бисеринки пота. Онис поводит глазами, удлинненными из-за продолговатых век. Блеск их притушен густыми ресницами, а брови над ними взмахиваются, как крылья.

На Варю, которая пришла к ней и сидит тут же рядом, смотрит Онис. Приятно ей, что Варя надела ее подарок — вышитый платок. Только повязала его по-своему, по-русски, нарочито небрежным узлом. Платок черный, с красными цветами, а лицо у Вари беленькое.

Варя принесла с собой сверток и сейчас разворачивает его. Из помятой старой газеты она достала длинную узкую полосу белого тонкого холста, разноцветные гарусные нитки, иголку. Положив пальца на колени, Варя вдевает в ушко иглы новую гарусинку. Онис разглядывает узор.

— Мой не такой, — быстро говорит она и поднимается на ноги. Красное платье-колокол опадает на чей, и теперь видно, что Онис хоть и невысока, но стройна, и талия у нее тонкая, гибкая. Варя залюбовалась.

— Че глядис так? — смутилась Онис.

— Эх, милушка! Нарядить бы тебя, — сказала Варя.

— На праздник платье тоже есть, — ответила ей Онис. — Такой день не надевай...

— Ну-ну, я это к слову, — заметила Варя. — Твою одежду никто не хает.

— Тохта, погоди, — сказала Онис. Она быстро сбегала в юрту и принесла лоскут блестящего черного плиса, весь в радужных разводах. Лоскут был выкроен по руке, и Варя догадалась — будут у Онис вышитые рукавички.

— Какая ты мастерица! — похвалила она. — Я так не умею.

— А я так не может, — показала Онис на полотенце Вари.

— Хочешь научу? Дружить так дружить! — воскликнула Варя и тряхнула головой, отчего узел платка разъехался, развязался, и платок сполз с головы на плечи. Белокурые волосы Вари рассыпались прядями, и она стала их торопливо прибирать, подняв оголенные локти. Онис коснулась рассыпавшихся прядей Вари, задержала на них ладонь.

— Как пух! — И она восхищенно зацокала языком.

Онис, кажется, вовсе забыла про свою мельницу. Все рассматривала вышивку Вари, перебирала разноцветную гарусную пряжу, и она горела у нее в пальцах, тонких, подвижных, как осы. Возвращая Варе ее рукоделье и нитки, Онис случайно задержала взгляд на газете, в которой ее русская подруга принесла полотенце.

— Ты читай? — спросила, надломив тонкую, будто нарисованную бровь и показывая на крупные буквы.

Варя не поняла, то ли Онис спрашивает, умеет ли она читать, то ли просит, чтобы прочитала, что тут написано.

— «Соха и молот», — прочла вслух Варя название газеты. — Соха — землю пахать, молотом кузнец работает.

— Моя знай, знай, — улыбнулась Онис. — Ты учи меня 'бумагам говорить.

— Милушка моя! — обрадовалась и в то же время опечалилась Варя. — Как же учить? Карандаш нужен, тетрадь нужна...

— А вот так, — Онис подала ей палочку. — Вот карандас. — Показала на голую землю. — Вот_x китрат...

— Изеннер, Аларчон. Проходи в юрту. Что тебе говорят твои духи? Будет ли благополучие в аале? — Этими словами старый Хоортай, стоя возле юрты, приветствовал низенького упитанного человека с брыластым лицом. Щеки у Аларчона свисали со скул, и там, где полагалось находиться подбородку, у него было углубление, из которого торчала метелка жестких черных волос. Веки Аларчона вздернулись и опустились снова, оставив незакрытыми только щелочки глаз.

Хоортай смиренно поклонился Аларчону и еще раз пригласил его в юрту.

Аларчон топтался на месте, передвигая на животе ремень, украшенный, как уздечка, набором медных бляшек.

— А туда не зайдут эти русские? — спросил он, мотнув головой в сторону избы.

— Они никому не мешают, Аларчон. Да их и нет в ограде. Варвар пошел к Онис, а Педор Павлыча...

— Знаю, знаю, не рассказывай! — прервал старика Аларчон. — Видел там, — показал он широкой короткой рукой на пустырь. — Копают землю вместе с полоумным Апахом.

— Кузница будет, — одобрительно сказал Хоортай.

— Беда аалу будет, — щеки Аларчона задрожали, как студень. Хоортай не выдержал слиш-

ком пристального взгляда Аларчона и стал смотреть на носки своих растоптанных маймахов.

— Ты, — ткнул ему в грудь пальцем Аларчон. — Ты сам, Хоортай-ага, виноват, что зять твой Сагдай, потерял косяк, а дочь твою, Домну, помяли овцы. Думаешь, все это просто так случилось? Не-ет! Это духи разгневаны. Зачем пустил к себе этого меднобородого и его бабу с девчонкой? Пожалел? А он твоего Сабиса...

Взгляд Хоортая скрестился со взглядом Аларчона, в нем было столько ясности и спокойной силы, что теперь поединка не выдержал Аларчон.

— Ты это сказать мне пришел, кам?

— Не только... Ты знаешь, — голос Аларчона перешел в свистящий шепот. — Духи мне сказали: все, что случилось до сих пор, это только предупреждение тебе. Не выгонишь русских — Таг-эзи придет...

— Зачем же приходить Таг-эзи? Его никто в нашем аале не беспокоит...

— Ты, Хоортай-ага, разве не знаешь того, о чем все в аале говорят? Русский собирается жечь в своей кузнице то, что принадлежит Таг-эзи, — черный горячий камень. Отступник Апах показал ему место в обрыве над Чобатом, где выходит черная жила. Шнбко худо будет аалу, если Таг-эзи рассердится.

Слова клокотали в горле Аларчона, а на нижней толстой губе его кипела, пузырясь, слюна.

— Пока еще не поздно, прогони русских.

Хоортай шумно вздохнул. Он верил в Таг-эзи — хозяина гор, в Суг-эзи — хозяина воды.

— Страшно сердить духов, — сказал он, помолчав, — но я не могу нарушить закон степи. Педор Павлыча мой гость, а гостей в юрту приводит Худай.

— Ты, Хоортай, трещишь, как сорока, — сно-

ва затряс брылами Аларчон. — Разве ты еще не понял, что и Худай на тебя разгневан? Худай послал тебе три испытания. Ты-их не выдержал. И теперь он отступится от тебя. И не защитит тебя от Таг-эзи... А Таг-эзи придет к тебе за своим добром...

— Ну если придет, — сказал после раздумья Хоортай, — я ему скажу: «Кузнец берет твоё добро для всех. Коней подковать, плуги наладить надо всему аалу. У всех ищи...» Тогда Таг-эзи никого не тронет.

— А ты разве забыл наши старинные верования, Хоортай? Не надо брать то, что лежит в земле. Таг-эзи придет только в твой двор...

— Тогда он и тебя не обойдет, Аларчон, — сказал Хоортай. — Ведь я знаю, что ты сам берешь в обрыве черный горячий камень. Мне Апах рассказывал.

— Беру. Этот камень мненужен для камлания...

— А скажи, кам, почему, когда ты зимой топшишь печь, из твоей трубы идет самый черный дым? Люди говорят, оттого, что ты водишься с самыми черными духами. А я раз принял — пахнет твой дым тем камнем... Зачем это говорю? А вот зачем. Зовешь к другим Таг-эзи, жди его и сам...

Аларчон ничего не ответил Хоортаю. Он только впился взглядом в его глаза. Где-то в их уголках, несмотря на то что Хоортай не соглашался с ним, Аларчон видел неуверенность, сомнение. «А ну, как и вправду, Таг-эзи станет мстить?..»

Глава 14

И он ушел, посеяв это сомнение...

Распахнулись на обе половины тесовые ворота Хапынова двора. Сам хозяин отворил их. Распу-

стив золотисто-седой хвост и держа его на отлете, лоснясь гладкими и крутыми боками и потряхивая гривой, на мягкой рыси вылетел из ворот Соловый. Сабис избочился на нем, поводья держит в левой руке, в правой — витую камчу. Голова гордо запрокинута. Всяк, кто посмотрит на Сабиса, скажет: «Ловкий, отчаянный наездник». Нос с горбинкой делает его похожим на молодого ястребка. Сабис улыбается всем встречным, улыбается облакам над головой, деревенским ласточкам, улыбается Соловому, который просит поводьев, и, конечно, самому себе. Лучатся глаза, блестят зубы. Он получил Солового, он счастлив.

Только почему он сразу, с места, погнал Солового самой крупной рысью? Сабис не обернулся, не посмотрел на Хапына, но он знает, что хозяин все еще стоит у ворот в черном широкополом тааре и трет лоб. Сказал: «Бери коня, только помни, за что он тебе дан». А Сабису не хочется этого помнить!

Табунок ребятни бежит вслед за Соловым. В щеки Сабису бросается румянец, губы расплываются в улыбке: внимание есть внимание!

Но вот улыбку будто сдувает ветром. Сабис чувствует, как тяжелеют и опускаются вниз веки. Он проезжает мимо того места, где Большой Федор строит кузницу. Сабис в смятении. Ему хочется хлестнуть Солового концом повода, чтобы иноходец как можно скорее унес его отсюда. Но вместо этого он, сам не зная почему, натягивает повод, укорачивает шаг коня. Федор и Апах ошкуривают лиственничные столбы. Согнувшись вдвое и раскорячив ноги, они гонят топорами с кряжистых сутунков длинную щепу. Вот Федор, услышав рядом конский топот, поднял голову, выпрямился. Апах, увидев Сабиса на Соловом, тоже перестал тесать столбы, воткнул топор в сутунок.

— Чахсы пегунес, — шелкает языком Апах, хвалит перед Федором Солового.

— Верно, хорош, — соглашается Федор. — Да и наездник вроде не плох. Эй, Сабис! — неожиданно зовет он. — Погоди-ка, послушай, чего тебе скажу...

Сабис настораживается.

Сабису кажется, что русскому все известно: и разговор его с Тойоном, и за что Хапын отдал ему такого коня. Может, рыжий алып только делает вид, что любит Солового? Но Федор широко улыбается ему, хлопывает широкой ладонью шею и холку Солового.

— Ты ведь понимаешь по-нашему, Сабис... Гляди.., — Он повел головой в сторону своей постройки. — Тут кузня будет. Приводи тогда Солового, подкуем его на все четыре... Ну, чего ты такой неразговорчивый, чудак-человек? Аль торопишься куда? Ладно уж, поезжай...

Сабис продолжает путь, не смея поднять головы. Маленьким и жалким кажется он сам себе.

Он гонит коня к Чобату, ниже того места, где берут воду. Там, примостясь на широком и покатом, выступающем из речки у берега валуне, полочет белье Марик. Она потихоньку что-то напевает без слов, есть ведь на свете такие песенки. Их сколько угодно можно подслушивать и перенять у Чобата, у леса, у птичек. В такую песенку можно вложить все, что подсказывает сердце.

Но вдруг солнышко в воде ходуном заходило, заплескалось и разлетелось на тысячи брызг. Это с ходу, рысью, въехал в речку Сабис на Соловом.

— Сабис! Ой, как напугал. Смотри, ты разбил солнышко.

Марик положила рядом с собой выжатый жгут белья и встала на валуне.

— Ничего, — сказал Сабис, свешиваясь на шею коня. — Вот погляди сюда...

И они, сблизив головы, глядят на речку и опять видят в ней солнце. Пальцы Марик запутались в гриве Солового, и рука Сабиса — там же. Обе руки нашли друг дружку, коснулись, переплелись пальцы...

— Значит, Соловый теперь совсем-совсем твой? — спрашивает Марик.

— Мой. Совсем...

Марик рада этому не меньше Сабиса. Он достоин такого подарка. Кто еще может быть таким же ловким наездником? Сабис дни и ночи проводит в седле, перегоняя косяки.

Им обоим вдруг не о чем стало говорить. Притихли. И в этой тишине слышно, как звенят, срываясь с губ Солового, капли воды.

— Знаешь, Марик, там, где сейчас пасется табуи, много «сладкого корня», — преодолел молчание Сабис. — Ты приходи завтра в луга.

— Если дядя Пичон...

— Тойон часто у вас бывает? — перебивает Сабис.

— Почти каждый день.

— А зачем?

— Мало ли зачем! Араку пьют, в карты играют. Он сидит тихо, только вот... — Марик замялась, покраснела.

— Только — что? — спрашивает Сабис.

— Уставится и глядит, — безотчетно понизила голос Марик.

— А-а! Так он приходит, чтобы посмотреть на тебя?..

Звякнула уздечка. Конь одним прыжком вымахнул из речки на берег.

— Сабис! Сабис, я приду-у! — кричит Марик вдогон. Но в ушах Сабиса уже поет ветер.

Шаманским, размалеванным в красный цвет бубном скатывается солнце с островерхого Саяна за степь, туда, где берет начало Чобат.

Низкорослый Апах, щуря и без того узкие глаза, смотрит вверх — на Федора Полынцева.

А Федор топчется возле вкопанного столба. Приминая землю подошвами пудовых бахил. Надо, чтоб крепко держался столб — не поддавался б ни непогоде, ни лихому человеку.

— Уу-юу, как много надо позух — стенка приколотить, — замечает Апах.

— Чего-чего? — не понял Федор.

— Позух... — В глазах-щелках Апаха бьется смех. — Его голова круглый, все равно как мой, а нога острый...

— Гвоздь!..

— Пусть гывоздя будет. Мой говорит: «Позух...»

— Не понадобится, — качает головой Федор. Он показывает на протесанные пазы в столбах. — Это стенку лучше удержит...

Теперь они отдыхают. Вьется тоненькой змейкой дымок из трубки Апаха.

У кузнеца не идет из ума Аларчон. Собой хлипок. Чихни — и упадет. А какую бучу поднял, когда узнал, что он, Федор, собирается каменный уголь для кузницы копать. Бегал шаман по всему аалу, кричал, что постройка кузницы не угодна духам. «Трава двадцать лет не вырастет там, где ляжет красная лисица», — говорил всем Аларчон.

И сейчас Федор спросил Апаха, давно ли он знает Аларчона.

— Росли вместе, — ответил Апах. — А потом Аларчон стал кам.

Вспомнил Федор один случай из своей партизанской жизни. Когда щетинкинцы отбили у белых Минусинск, то навстречу им, вместе с жите-



лями, вышли и попы. Один даже хлеб-соль нес. Партизаны приняли ее, никуда не денешься. А на другое утро командир разведчиков Петр Жарков привел этого попа в трибунал под конвоем: «Колчаковцев прятал. В церкви под полом у него тайник. Там и винтовки, и пулеметы...»

Полынцев словно наяву увидел Жаркова, своего партизанского начальника. Высокий, а не плечистый. Силы вроде и не так много. А как выглядит — будто насквозь тебя просветит глазами... Головастый и дельный командир. Главное — совесть у него чистая, как на ладони. За таким легко в бой идти... Где же он теперь, наш Петр Иванович?

Федор кончил трамбовать землю, отошел от столба, посмотрел — вкопан прочно.

— Педор Павлыча, — попросил его Апах. — Делай мне, пожалуйста, вот такой сундучка... — он показал руками размер. — Апах пойдет на темир-чолы — железный дорога...

Польшцев не совсем понял. То ли Апах куда-то собирается ехать по железной дороге, то ли работать на какой-то станции. Федор знал, что ближайшая отсюда железнодорожная ветка Ачинск—Минусинск, строительство которой было прекращено в колчаковщину, достраивается. Может быть, Апах туда и собирается?

— А почему ты аал оставить хочешь? — спросил Федор.

Апах сел на траву, набил трубку.

— Работа нету. Хапынов скот пасти? Не надо. Ребятишек по-русски учить надо... Ящик делай... Железный дорога машина есть. — Апах встал и запыхтел, изображая паровоз, закрутил руками. — Настоящий айна! — И захохотал.

На восточном конце аала залаяли собаки. Понесся конский топот, стук колес. В сторону

аалсовета мимо двора Хоортая проехали двое в тарантасе. Их хорошо видно было и с того места, где Полынцев и Апах строили кузницу. Всмотревшись в лицо одного из них, одетого в защитный дождевик и военную фуражку, Федор удивленно ахнул, брови его полезли вверх.

— Понимаешь, Апах, какая оказия! — говорил Федор возбужденно. — Радость-то какая!.. Только ведь про него подумал, а он сам тут и появился... Ну и оказия!..

Обоз растянулся на полверсты. Низкорослые степные лошадки с косматыми гривами впряжены в телеги, нагруженные высокими связками шкур, громоздкими тюками. Вожжи держат смуглые широкоскулые возницы, одетые в длиннополые хакасские таары. Фыркают кони, скрипят телеги, раздается быстрый отрывистый говор возчиков.

— Корат? — проговорил одноглазый Тирнук, показывая кнутовищем вперед.

— Город, город, — подтвердил сидящий рядом с ним Пичон, подтягивая ичиги, отряхивая пыль с таара и поправляя на голове коричневую войлочную шляпу.

Вдали — не в ,ряд, а как попало — саманные, беленные известкой домишки окраины. Стекла окон пускают в обозчиков зайчики. За тремя линиями домов — гряда тополей. Она почти сплошная. Деревья высокие, старые. Над толстеными бугристыми стволами — раскидистые кроны. Пожухлая листва не облетела. Тополя стоят на берегу протоки, у самой воды. Они, как часовые, берегут прозрачный Тагыр, разделяющий город Минсуг на две части.

«Тагыр, Минсуг — наши названия», — думал Пичон. Ему тесным кажется воротник таара, и он не расстегивает, а рвет верхний крючок. В горле

у него клокочет, как будто там кипит, а пар не может протолкнуться наружу. А может быть, это просятся слова, которые Пичону хочется сейчас произнести вслух, но он сам же поставил перед ними крепкую преграду и произносит их лишь мысленно: «Нашим будет весь этот край, нашим. И Минсуг возьмем. Людей наwerbуем и вооружим на деньги Петрицкого...»

А в раме дуги уже новый вид — деревянный решетчатый мост через Тагыр. Вот подвода вкатилась на мост. Щелкают копыта по дощатому настилу, гремят колеса. Рыжка пугливо косится на мелькающие справа и слева высеченные бревенчатые фермы. В это время, в сентябре, Тагыр мелкий, и мост кажется особенно высоким. Тирнук не был здесь раньше, не видел моста. Он соскакивает с телеги, подбегает к низким перилам.

— Туда глядеть — голова кружится, — говорит он Пичону.

— Не зевай по сторонам, а запоминай дорогу, — недовольно замечает ему Пичон. — Не будет меня на возу — куда править станешь?..

Сам Пичон на мосту обернулся только раз. Посмотрел на тот берег, с которого они въехали по дощатому настилу. Но не на своих обозников глядел Пичон. В стороне от моста, ниже по течению, несколько поодаль от прибрежных тополей, краснело кирпичом широкое трехэтажное здание с узенькими окошками. Даже отсюда, с моста, видно было, что окошки зарешечены.

Пичон с силой сдвигал челюсти, и зубы его громко скрипнули. Если бы взгляд его мог прожечь эти толстые кирпичные стены, эти железные крестообразные решетки на окнах! Ведь где-то за ними, под стражей, сидят сейчас последние приверженцы атамана Сотникова, на которых он, Пичон, мог бы опереться. Сидят и господа из управ-

ления рудников Петрицкого. За тюрьмой — сосновый бор. Может быть, отсюда бывшие знакомцы Пичона переселяются под землю, в царство Юзут-хана... Зябко повел спиной Пичон, велел Тирнуку быстрее съезжать с моста.

Чаще защелкали по доскам копыта Рыжки, громче застучали колеса. А Пичону показалось, что это пулемет ударил по мосту.

На правом берегу Тагыра, от моста, пошли каменные строения. Кирпич тут окончательно вытеснил дерево. Улочка была неширокой, только-только разминуться двум встречным подводам. По обе стороны лежали тротуары из плит дикого красного камня — песчаника. К окнам нижних этажей привешены тяжелые ставни, в наличники вделаны железные петли с болтами.

Улочка повернула, привела на площадь. И тут Пичон и Тирнук увидели собор. Он сверкал позолотой высоких куполов, стеклом множества полукруглых окон, яркой медью фигурных крестов, венчавших купола. Широкая паперть, сложенная из того же песчаника, вела к главному притвору. Двери его были приоткрыты. На паперти толпились нищие и старухи в черных платках. Внутри шла служба. Пичон расслышал даже пение хора.

Тирнук, раскрыв рот, рассматривал никогда не виданное прежде здание. Каменное, оно, казалось, вовсе не давило на землю, — плыло, будто корабль, обращенный носом к востоку.

— Вожжи уронил! — окликнул батрака Пичон.

У Пичона с этим русским православным храмом было связано одно воспоминание. Приезжал сюда с отцом на благодарственный молебен, который заказал в соборе золотопромышленник Петрицкий. На молебен собиралась вся местная знать — и русские купцы, и хакассские владельцы.

Пичон стоял тогда внутри храма, в правом его приделе, среди кряжистых аксакалов байских родов. Все аксакалы были крещеными, хотя крестились неумело. Блестело серебро их наплечных нашивок, переливались шелка сборчатых рубаш и тааров. Мальчишка, он вытягивал шею, стараясь получше рассмотреть возвышающегося впереди, перед самым амвоном, Петрицкого. Но того загораживали спины в пиджаках из дорогой шерсти. Плотным кольцом окружали «золотишника» купцы-лабазники. Пичон все-таки рассмотрел тупые толстые плечи, натертую тугим крахмальным воротничком красную шею, покрытый завихрившимися завитками рыжих волос затылок. И посредине затылка — шишку величиною с кулак. Он забыл, что находится в церкви, и громко засмеялся, показывая отцу на затылок русского бая. Но отец, оскалив зубы, как табунный жеребец, зло сверкнув глазами, забрал в пятерню волосы Пичона и больно потянул. Тогда он обиделся на отца. Лишь после понял: не мог отец, состоящий в свите Петрицкого, обойтись с ним иначе. Все тут — и величие храма, и пестрая толпа русских и хакаских воротил — было только пышной рамой для Петрицкого. Для него волосатый дьякон, одетый в серебряный стихарь, возглашал многолетие, да так, что тряслись и звенели подвески паникадила. Для него ангельски умильно пели два хора на клиросах и третий на балкончике под потолком.

Петрицкий казался скалой, вросшей навечно в минусугскую землю... Где теперь эта скала? Большевики уронили? Хым... Ведь в руки большевиков не попала большая часть денег Петрицкого, в минусугскую тюрьму не угодила часть его людей. А главное — остались рудники. И сам он из-за гра-

ницы шлет верных гонцов — торопит с антибольшевицким восстанием, с отделением Хакассии.

Пичона он, наверно, и не помнит. Где там! Но Петрицкий хорошо наслышан о хакасских националистах. Знает, что они выбрали даже президента...

Пичон похож на пьяного. Сухой огонь блестит в его глазах. Закричать бы сейчас по-беркутиному, чтобы этот крик услышали те, кто прячется где-то в таежных чащах. Вот он Минсуг! Им надо овладеть как можно скорее, не дожидаясь, пока большевицкая власть окрепнет.

Крупные капли пота блестят на лбу Пичона. Тирнук смотрит на него с опасением: не заболел ли? А Пичон смахивает пот рукавом таара: да нет, это он мысли сгоняет. Страшные они, далеко идут. Вдруг люди в Минсуге их подслушают. Страшно. Может быть, не надо было ехать с обозом в Минсуг, где его могут узнать? Но он не надеется встретить тут знакомых.

Он успокаивается, ловчее устраивается на телеге.

Обоз подошел к двухэтажному каменному зданию ревкома. Передние подводы остановились, а задние все подтягивались и подтягивались. Дуги коренников обвиты красными лентами. Над одним из возов на двух палках алеет полотнище: «Аал идет к городу».

На тротуарах останавливаются прохожие. Вozы окружила любопытная детвора.

Странное состояние испытывал Пичон, когда поднимался по лестнице на верхний этаж. Мысль стремилась туда вперед него самого, а ноги казались пудовыми. Его захватил одновременно прилив и отчаянной смелости, и страха. На разведку шел Пичон. Убедиться лично, прочна ли в Минсуге Советская власть.

Председатель уездного ревкома сдержанно поздоровался с Пичоном и показал ему на стул.

— Нет, присидатель. Мой стоять будет. Вот бумага, читай...

Нигде и никогда до этого не говорил Пичон, ломая русскую речь. А здесь.— надо.

Егор Кузьмич Губенков взял из рук хакаса листок, стал читать. Пичон потихоньку наблюдал за ним. При каждом движении председателя его мягкие светлые волосы, зачесанные на косой пробор, вздрагивали. Лицо Губенкова казалось непроницаемым. Лишь пошмыгивал чуть-чуть вздернутый нос. Пичон рассмотрел и черный, в полоску, поношенный пиджак Губенкова, и широковатые брюки, немного нависшие на голенища грубых сапог.

Из малограмотного документа Губенков понял: батраки, бедняки и середняки одного из далеких хакасских аалов привезли своим братьям — русским рабочим тюки кож и кипы шерсти.

Губенков слегка улыбнулся, когда прочитал пожелание сшить из этой кожи сапоги для бойцов Красной Армии и тужурки для комиссаров. У города аал просит сельскохозяйственные машины — там организуется машинное товарищество.

— Что же вы стоите! Садитесь, — пригласил Губенков, раздумывая над бумагой и одновременно продолжая изучать посетителя. «Кажется простоватым, но глядит и держится смело. Интересно, из каких он будет?» Губенков подсадовал, что до сих пор плохо знает низовые кадры уезда.

Был он неплохим командиром подразделения в партизанской армии Кравченко — Щетинкина. На самые трудные и рискованные операции посылало командование батальон Губенкова, и всегда они кончались разгромом колчаковцев. А теперь, когда партия доверила болюшой пост председателя ревкома, он не чувствовал себя так же уверенно. На

кого опереться ему? Коммунистов в уезде, считай, пока горсть. Однополчан-партизан под рукой — после разгрома Колчака часть их влилась в ряды регулярной Красной Армии, остальные отпущены по домам... «А может, не с того конца начал? К директивам из центра прирос? Надо почаще выезжать на места... Тогда не будет таких неожиданных знакомств в твоём же кабинете. Что я знаю про его аал?» — Он бросил взгляд на стену, где висела карта уезда. Встал, подошел к ней. За синими волнистыми линиями, изображающими реки Ким-Суг и Ахбан, коричневели сгущенные горизонталы, сходящиеся хребты Западного Саяна и Кузнецкого Алатау. Коричневые штрихи полукругом окаймляли большое зеленое пятно — степь.

«Вот он, хакасский юг! — вздохнул Губенков. — Там до некоторых мест еще и вовсе не дотянулись ниточки от уезда».

Молчание становилось неловким.

— Так, так, председатель аалсовета... — заговорил Губенков. — Много ли баев в аале?

— Один, — сразу ответил Пичон.

— Много скота у него?

— Один большой лог — косяки, один маленький лог — коровы, два маленьких лога — овечки...

— Договор есть с баем у пастухов? Бумага...

— Есть, есть, присидатель. Все есть.

Губенков задержал взгляд на Пичоне. Не заливает ли, не смеется ли в глаза? В русских селах уезда и то властям с трудом удастся оформить договоры о найме рабочей силы. Не идут на это кулаки. Подписать такой договор — все равно что поставить на себе крест. Бумажка всем скажет — ты кулак, а кулака теперь сторонятся. Да и сами батраки зачастую не хотят подписывать договор, чтобы не портить отношений с хозяевами.

А тут в хакасском аале вдруг оказываются выполненными все требования уездного ревкома. Удивительно!

Посетитель выдержал взгляд хозяина кабинета и кивнул на окно:

— Видишь? Весь улус давал. Хакас — сознательный люди. Принимай, пожалста!

Губенков прошелся по кабинету. Шагов не было слышно, их глушил толстый ковер-палас, оставшийся в здании от прежнего владельца. Ковер этот Губенков не любил. «В нем старорежимная пыль», — не раз говорил он коменданту. Но комендант, тоже старый партизан, уговаривал: «Пожалей свои ноги, Егор Кузьмич! Они же у тебя простуженные еще с той зимы, как мы с товарищем Щетинкиным прошли по сугробам от Ачинска до Степного Баджея...»

Егор Кузьмич поглядел на обоз, стоящий внизу, перед зданием ревкома. Он увидел отсюда не только противоположную сторону площади, но через просветы между домами — и следующую за площадью улицу. Площадь широкая, обстроена со всех сторон добротными домами. Первыми хозяевами их были купцы да золотопромышленники. Строили не для жилья, а чтобы извлекать доход. В нижних этажах размещались магазины, под ними были подвальные помещения, где хранилась всякая всячина. Вон, напротив, дом с веселыми башенками на крыше, со сводчатыми окнами. Строил его купец Спорышев. А рядом с ним квадратная глыба, выкрашенная желтой охрой, — дом мельника Пашенных. Оба были главными воротилами в Минусинске. Пашенных успел удрать от красных в Харбин, а Спорышеву — не удалось.

Но было в этом городе до революции и другое.

Рассказывали Губенкову, что когда-то жили здесь сосланные декабристы. Кто они такие —

предревкома в подробностях не знал, но радовался тому, что уже давным-давно шли эти люди против царя. Хорошие, значит, люди, честные, смелые! Да что декабристы — сам Ленин здесь в конце прошлого века бывал.

Ленинцы, его друзья и помощники, здесь жили и работали. А вон там, — отсюда не видно этого дома, — аптекарь Мартьянов создал интереснейший музей по истории изучения края. Слухи есть, что Владимир Ильич приходил к Мартьянову, интересовался музеем. В общем, будто две разные России сталкивались здесь в давние времена — тогдашняя и сегодняшняя.

Вот тебе и маленький городишко! Вот где тебе приходится сегодня командовать, предревкома Губенков! А ты не знаешь, с какого конца начать...

Он поворачивается к Пичону:

— Не случалось ли тебе, председатель аалсовета, бывать раньше в Минусинске?

Пичон, продолжая коверкать речь, рассказал, что он приезжал в город, даже в этот дом заходил. Просто посмотреть. Тогда у входа стоял человек с медалями, с золотым шитьем на рукавах. Увидел, идет бедный инородец, — погнал прочь...

— Ну вот, а теперь, — улыбнулся Губенков, и даже тени усталости под глазами его словно крепким сквознячком сдуло, — теперь, видишь, совсем другой коленкор получается. И в этом кабинете не я хозяин, а простой народ.

«Доверчивый или... испытывает?» — думал Пичон, а вслух попросил:

— Ты нам помогай, присидатель. Бандит ходит. Отряд нужен...

— Знаю, знаю. Все знаю... В вашу волость поехал уполномоченный Жарков. Он вам поможет организовать отряды самообороны...

— Бандит ходит, — повторил Пичон. — Народ боится. Партизан твоих тоже боится...

— Каких партизан? — брови Губенкова взлетели вверх.

— Который кончил воевать, пошел деревня. Тебе в отряд разве такой люди не надо?

— Такие люди, брат, везде нужны. Да чего же их бояться? Или случай какой был?

— Случай не был, — замотал головой Пичон, — а неизвестный люди, винтовка, карабин с собой таскай. Говорит — партизан был. Мой понимает, — Пичон хитро сощурился, — ревком такой люди послал туда-сюда глядеть...

— В разведку, значит? — полуутвердительно, полувопрошающе отметил Губенков.

— Вот-вот, разведка... Хороший дело. Банда гоняй надо...

— Добьем, — уверенно сказал Губенков. — И вы в этом поможете. А вот... — Он присел рядом, взглянул еще раз в документ посетителя. — Ну вот, говоришь, Почкаев, что кожу и шерсть привез, это хорошо. Только еще вот мяса надо. Скот гнать: быков, баранов... — Председатель ревкома встал, прошел к столу, достал отпечатанную на машинке директиву. — Поймешь? По этой бумажке скот отбирай у баев, гони в город. В Красноярск на баржах будем отправлять. Оттуда в Москву, в Питер. Там рабочие голодают...

Пичон кивнул: дескать, все понял, постарается.

— Так, значит, знаешь город. Ну и хорошо.

Губенков объяснил, куда сдавать кожи.

Спускаясь по лестнице, Пичон дышал так, будто долго по ней поднимался.

Обоз давно ушел из многолюдного центра и теперь приближался к одной из рабочих окраин. По обе стороны кривой улочки друг к другу теснились деревянные лачужки. Здесь и заборы были

ниже, и ставни не в каждом жилище, видно, обитателям халупок нечего было прятать. В нескольких местах с той и другой стороны дворы разгораживались друг от друга высоченными каменными стенами из дикого плитняка.

Правя Рыжкой, одноглазый Тирнук поворачивал голову то туда, то сюда:

— Однако, Пичон-абый, — сказал он удивленно, — у соседей, что отгородились друг от друга, кровная вражда?..

— Нет, Тирнук. Просто эти люди боятся пожара, — усмехнулся Пичон.

И внезапно у него заколотилось, запрыгало неперпеливое сердце. Рассчитываться с большевиками, так рассчитываться. Надо со всех четырех сторон подпалить Минсуг, когда придет время! От деревянных улиц останутся только вот эти плитняковые стены. Каменный центр пусть сохранится. Может, Петрицкий вернется в свой дом, похожий на дворец. А не вернется, тогда он, Пичон Почкаев, президент отделенной от большевистской России Хакассии, посадит там свое правительство.

Рыжка мотал головой, встряхивая космами гривы. Пичон глядел сквозь полуовал дуги на деревянную улочку и думал, думал.

Внезапно раздались свистки, резкие, отрывистые, с трелями. У Пичона екнуло в груди. Неужели Губенков понял, кто он, Пичон, и теперь послал милиционеров задержать обоз? Противная слабость приковала Пичона к телеге, хотя он знал, что лучше — бежать, перемахнуть через забор, скрыться в первом попавшемся дворе...

Вдруг в телегу вскочил заросший до глаз черным волосом детина. Сначала, впопыхах, он только упрасивал о чем-то глазами. Пичон так и не успел его как следует рассмотреть. Увидел только,

что детина босиком, а пиджак надет прямо на голое тело. Дышал он часто, — сильно запалился. Беспреданно ворочал головой, поглядывая то на проулок, из которого доносились свистки, то стараясь поймать взгляды Пичона и Тирнука.

В глубине проулка, с которым поравнялась подвода Пичона, показалась цепь милиционеров.

Незнакомец еще раз взглянул на Пичона, и в его затравленном взгляде что-то блеснуло, у него появилась надежда.

— Господин Почкаев, — хрипло и торопливо выдохнул беглец. — Спасите. Закройте чем-нибудь. Я — Самохвалов...

Пичону некогда было удивляться. Беглец распластался на дне телеги, а Пичон и Тирнук навалили на него ворох овчин.

— Поезжай, как ехал, и не верти головой, — приказал Пичон Тирнуку.

К подводе подбежал парень в обычной красноармейской гимнастерке. В руках он держал винтовку. Наверно, из новобранцев. Видно, боец не нашел звездочки, чтобы прикрепить над козырьком, и нашёл на буденовку самодельную звезду из красного сукна.

Запахавшись и облизывая языком запекшиеся губы, он спросил неокрепшим баском:

— Не видели тут одного?.. Контра, его трибунал ждет...

— Мин пильбинче, — показал ему на себя Пичон и помотал головой: не говорю по-русски...

Парень обратился к Тирнуку, но тоже не добился от него ни слова.

— Эх! — произнес он огорченно и, махнув рукой, присоединился к своим.

— Теперь не оборачивайся, — шептал Тирнуку Пичон. Отряд, проводив обоз глазами, рассыпался обшаривать ближние дворы.

«А ведь это не милиция! — внезапно сообразил Пичон. — Неужели все-таки Губенков догадывается о восстании, если вызвал чоновскую часть?!»

Глава 15

Над Чобатом горят и не сгорают в желтом пламени костры тополиных крон. А попадаетея среди них осинка, пожухлая листва ее — красный огонь.

Сгорел на этом огне летний гнус. Овод не тревожит теперь табунных коней, и они не забираются, спасаясь от него, в речку. Огонь листвы кажется все горячее и горячее, да только вода не согревается, а все холодеет и не манит коней.

Девять косяков пасут Сагдай и Сабис на отавах возле Чобата. Выдобрили кони. На круглых боках, под лоснящейся шерстью, не видно ребер. Можно на любого садиться без седла. Мягко, как на подушке. А вот с гривами и хвостами просто беда — все в репьях да в липухе. День расчесывай — не расчешешь.

Из всех коней ухожен только Соловый, на котором ездит Сабис. И грива разобрана на прядки, и хвост волнистый. Махнет им Соловый, и разделится он на тысячу волосков. Молодой табунщик не налюбуется своим иноходцем. То припадет к выгнутой по-лебяжьей шее, потреплет ее смуглой рукой, то начнет что-то нашептывать в стригущие уши коня.

Сабису кажется, что все вокруг: и трава, и деревья, и даже лысый Хара-Курген — разделяют его любовь к Соловому.

Пружина на стремях, Сабис носится вокруг табуна, искоса поглядывая на слитые воедино тени — свою и Солового.

А вот отец едет на игреневом коне, грива у которого свалаялась, как потник, что подложен под седло. В челку Игреньки вцепилась колючая ветка бурьяна и торчит из нее уже который день. Седло на спину коня брошено небрежно, хлопает по ней, потому что ездок перестал следить, хорошо ли затянут ремень подпруги. Сам Сагдай высох и почернел. На всем лице — одни глаза, угрюмые, не улыбочивые, глядящие мимо табуна, даже мимо сына, который поминутно подъезжает к нему, чтобы и отец полюбовался Соловым.

Сагдай постоянно глядит в сторону далеких синих тасхылов саянских вершин, что маячат там, где земля сходится с небом. Зубцы тасхылов белым-белы, и холодом веет от них.

Но не снег на тасхылах приковывает внимание Сагдая и даже не сами Саяны. Он бессчетное число раз их видел и знает, что там лишь горы, да небо, да глухая звериная тайга. Но каждый раз взгляд его ищет одну из вершин — острую, как зуб чудовищной ведьмы Юзут-Арх, что во время черных бурь скачет по небу на трехногой кобыле. Болит душа Сагдая. У него, лучшего табунщика, недобрые люди угнали косяк. И угнали под тот самый островерхий зубец, до которого отсюда будет, пожалуй, верст около сотни. Зубец хорошо виден, потому что высок и погода ясная.

«Мухортый-то жеребец норовистый, — думает Сагдай. — Чужим не дается. Как это конокрадам удалось его увести? Или убили Мухортного, чтобы не мешал гнать косяк?..»

Жалко Сагдаю Мухортного. Лучший косячный жеребец был. Никакие стаи волков не могли одолеть коней, которых водил этот долгогривый, горбоносый, с лысинкой на лбу и одним ухом скакун. Второе ухо Мухортного было отрублено шашкой еще в гражданскую войну. Обменял жеребца

здесь, Б аале, на спокойного конька какой-то красный солдат. Жеребец будто спас ему жизнь, поднявшись на дыбы во время сабельного боя. А расставаться с ним приходилось потому, что, встречая других партизанских коней, жеребец свирепел. Грыз их и бил копытами, старался подчинить себе. Горе было ездоку, если Мухортый увидит кобылицу. Вот красный и взял себе коня поспокойней, а Мухортого оставил здесь.

«Что за люди угнали и косяк и самого Мухортого?» — спрашивает себя Сагдай и не находит ответа.

А глаза его глядят на далекий заснеженный саянский зубец.

Рано утром Серге в кожаной тужурке, в которой он был у Пичона, вышел из землянки.

Еще не поблекли звезды на западной темно-синей стороне неба. На востоке небо бледнело, белые полосы на нем постепенно набухли нежно-розовым цветом. Темнела сонная пока тайга. Верховой ветер все же пробивался через скалы и глухо шумел в макушках кедров и пихт. Самые верхние зубцы скал перекрашивались в рыжий цвет, а ниже, в ночной тени, скальные стены уходили как бы в бездонный провал. Лес шумел за спиной Серге, скалы темнели впереди и по бокам. К землянке Серге и окружавшим ее другим землянкам спускался пологий склон, сплошь заросший вековыми хвойными гигантами, заваленный почти непроходимым буреломом. А обратная сторона этого склона представляла отвесную стену двухсот-трехсотметровой высоты. Стена эта шла полукругом с юго-запада на юго-восток, доходила до самого Ахбана, в его верховье. Непрístupной с той стороны была эта природная крепость.

А впереди, с северо-востока на северо-запад,

громоздилась вторая цепь скал, отвесные стены которых обрывались внутрь Хаза-тайги. Под ними лежало небольшое, но глубокое озеро. Вода холодная — напьешься, и зубы заломит. Над этими скалами, что гляделись в озеро, высывались макушки небольших деревьев, как будто подкрававшихся с той, обратной, стороны к вершинам, чтобы посмотреть, а что же такое там, внизу? Ниже их шел крутой склон, заросший лесом. Эти две скалы — северная и южная — похожи на скобки, повернутые друг к другу вогнутыми сторонами. Западные их концы внизу почти соединились, образуя вверху воронкообразный распадок. Озеро Кюль-тасхыл под скалами не замерзло, и в середине вода крутилась воронкой. Через узкую щель наружу — единственный проход на востоке, напоминавший огромные ворота, был накрепко закрыт заставами часовых.

Нельзя было во всех здешних краях найти более неприступного, дикого и угрюмого места, чем Хаза-тайга...

Серге постоял, поживаясь, стряхивая с себя остатки сна, потянулся, подняв руки, и его коричневая кожанка, оттопыренная на груди неразлучным наганом, заскрипела. Из кармана ее, засунутое туда одним концом, высывалось грязное полотенце. Перепрыгнув через ствол сваленной на дрова сухостоины, Серге направился к озеру. На траве, по которой он ступал, блестел иней. От землянки к озеру протянулась узкая темная дорожка.

Подойдя к самому урезу воды, опустил на корточки, стал умываться. Руки и лицо вмиг покраснели, передернулась обтянутая кожанкой широкая спина. Потом выпрямился, выдернул из кармана полотенце и провел им по щекам. Оно цеплялось за жесткую ость не бритой несколько дней

бороды. Вода у берега успокоилась, и Серге увидел в ней всего себя. Он остался доволен своей осанкой, она вполне подходила к его положению в Хаза-тайге.

Серге повернулся в ту сторону, откуда пришел, и стоял с высоко поднятой головой, оглядывая широкую поляну и опушку леса, и размышлял. Его верхняя губа, поросшая щетинистыми усиками, вздрагивала, зрачки глянцевито блестели. Вот на поляне стадо коров, отбитых у пастухов на выгонах степных аалов, отара овец, отнятая у чабанов, и косяк лошадей. Коровы перестали доиться, да они не для молока нужны здесь, так же как и овцы — не для шерсти. Косяк коней тоже поредел. Остались только годные для верховой езды лошади да косячий жеребец. Уж этот жеребец! В глазах Серге, когда он смотрит на Мухортого, ледяная неприязнь. Невзлюбили они друг друга с первого дня. Далекий путь был у косяка. Мухортый несколько раз порывался повернуть коней на старое пастбище, к знакомому доброму хозяину, что ездит в выгоревшей синей рубаше и запластинных, протертых о седло штанах, на буланом коне*

Спина, круп и бока Мухортого покрыты рубцами, они гноятся. Он часто катается по земле, пытаясь унять боль, но рубцы саднят еще пуще. Тогда Мухортый подходит к кобылице — к той, что с точеной шеей и мягкими, прохладными, слегка влажными ноздрями, вытягивает свою шею, поросшую буйной гривой, и кладет голову ей на спину. Так они стоят долго-долго и глядят перед собой глазами, не видящими ни хребтов Хаза-тайги, ни озера Кюль-тасхыл. А видят они пастбища вокруг далекого аала и свой табун. Еще кобылица видит своего жеребенка, звонко скачущего на молодых копытцах, распустив хвост. Там, в родном табуне, был он с ней. А здесь его увели

вон к тем земляным жилищам и убили. Потом возле каждой землянки пылали костры, и в воздухе разливался запах вареной молодой конины. А шкура ее детеныша и сейчас висит, сушится, распяленная между двумя сосенками.

Увидев Серге, Мухортый плотно прижал к голове свое единственное ухо, глаза налились кровью. Он настороженно смотрел, как этот новый хозяин в блестящей коже идет к землянке мимо остатков косяка. И рубцы на спине жеребца горят огнем. Их оставила плеть этого человека. Каждый раз, как только Мухортый пытался повернуть табун домой, этот, в кожанке, набрасывал на него аркан, потом прикручивал к толстой сосне и пускал в ход плеть со свинчаткой на конце. Мухортый, косясь на Серге, выгибает колесом шею, трясет головой, отчего грива и челка взлетают космами. Особенно страшным он становится, когда обнажает, как сейчас, желтые большие зубы. Всю жизнь они перетирали траву, но с каким злым удовольствием он рванул бы ими тело того, в кожанке. Кобылица трется о холку Мухортного мордой, успокаивает его. И он не бросается на Серге, который, проходя, не спускает с него глаз и правую руку держит за оттопыренной пазухой.

Скот охраняют четверо верховых хакасов с ружьями. Опушка Хаза-тайги гудит говором проснувшихся и высыпавших из землянок людей. Горят костры, кипит в котелках и ведрах варево. Тут режут коня, подальше свежуют быка, а в другой стороне несколько баранов подвесили к лиственнице за задние ноги и сдирают шкуру. Вялится впрок разрезанное полосками мясо. Режут скот мужчины, варят тоже мужчины. Одеты кто во что. На одном — новый черный таар, другой — в вельветовой куртке, третий — в драповом пальто; кое-кто в вышитых хакасских шубах

с воротниками из мерлушки. У костров собираются группами. Вот три качинца у шалаша, покрытого хвойными ветками, готовят кан — национальное блюдо из крови. А вон у землянки четыре сагайца варят суп-угре из баранины, бросают в котел для густоты поджаренный ячмень. Пар вкусно щекочет ноздри.

А возле конусообразного шалаша несколько шорцев обглаживают овечьи мослы, запивая обед пьянящим напитком абырхты.

Четвертая группа лесных жителей, уединившись у своего шалаша, ест бараньи шашлыки. Щеки вымазаны жиром.

Каждая кучка говорит на своем наречии.

Пожилой толстый кызылец разливает самогон, насмешливо косясь в сторону качинцев:

— Только закусывают. Выпить-то нечего... А ты пей, палам, — говорит он парню лет семнадцати. — Согреешься...

Все дружно хохочут.

Однако кызыльцы ошиблись. Нашелся самогон у всех. Все чаще звучат оскорбительные прозвища. Вот кто-то встал, погрозил, выкрикивая бранные слова. В ответ тоже раздалась брань.

— Ты убийца! — слышался хмельной крик.

— А ты бабий вор!..

Так перекрикивались они, пока один из качинцев не бросился на сагайца. И пошла драка. Все перемешались. Хватали друг друга за волосы, колошматили кулаками, давали пинка.

Серге, позавтракав в своей землянке, что посреди стана, услышал громкую брань, вышел.

— Командиры пятерок ко мне! — зычно крикнул он.

Прибежали толстый кызылец, сагаец в кожанке, шорец в беличьей шапке, командиры качинцев, бельтыров, койбалов.

— Садитесь, — указал Серге на бревно. Сам опустился на пенек.

— Пьете? Деретесь? — обвел их всех строгим взглядом.

Поднялся толстый кызылец.

— Виноваты, командующий. Делать нечего. С тоски от безделья пьем... Надо бы выступить. Минсуг когда возьмем?

— Силы малы. Вот я поеду... еще соберем. Налеты продолжать будем. Запасаться надо. вес надо лошадям.

— А где кин¹ нашей земли будет? — поднялся качинец, сплевывая сквозь зубы. — В Минсуге, наверно?

— В Аскизе будет, — запротестовал сагаец.

— Хватит! — оборвал их Серге. — Правительство отделенной Хакассии знает. Сначала победить надо.

Он запрокинул лохматую голову назад, свел густые брови у переносья, строго глядя на командиров пятерок сверху вниз. Потом распорядился собрать все отряды на воинское учение.

Банда выстроилась. Было в ней человек триста. Делились на пятерки, — у каждой был свой командир. Над плечами бандитов торчали стволы боевых карабинов, из карманов высывались рукоятки наганов, кольтов, маузеров.

Серге зашагал вдоль строя, покачивая плечами. Куртка его лоснилась и поскрипывала. Кривые ноги наездника переступали по земле неуклюже. Время от времени он подходил к одному-другому добровольцу, проверял, в порядке ли оружие. Затем обратился с речью ко всему отряду:

— Алыпы! Все мы с вами потомки великого Ханза-пига, о котором под говор струн чатханов

не устают петь наши седовласые аксакалы-хайджи. Ханза-пиг прославился тем, что воевал против ах-хана — белого царя. Он побил несчетное число русских. Теперь ах-хана нет. Но пришли большевики и отняли наши земли, теперь забирают скот. Наше богатство, нажитое торговлей, они развеяли, как пыль по ветру. Многие старейшины славных хакасских сеоков сидят в минсугской тюрьме за крепкими замками и решетками. Кровавыми слезами плачут их семьи. Кто вступится за них? Кто освободит черноголовую Хакассию от красных притеснителей? Это должны сделать мы с вами, алыпы. Скоро настанет время большого похода на Минсуг. Но мы не одиноки в этом восстании. С севера нас поддержат силы есаула Оловьева, а с юга, из Монголии, подойдет армия Унгерна... Поддержат нас и заграничные друзья хакасского народа.

Серге говорил и внимательно смотрел, какое впечатление оказывают на добровольцев его слова. Заметил, что некоторые хмурые лица прояснели.

Он подошел к молодому парню в лисьем треухе, из-под которого выбуривали мрачные глаза.

— Апанис Тогочаков, скажи алыпам, за что ты будешь мстить красным.

— За то, что они забрали отцовское золото. Пришли ночью и взяли. Донес им батрак. Он родом из нашего сеока. Рассчитаюсь с большевиками и повешу батрака.

— Чахсы, хорошо сказал Апанис, — одобрил Серге. — Выметем красных русских, а заодно пустим кровь отступникам от наших родовых обычаев. А ты, Торка Сагалаков, — обратился он к другому добровольцу, — знаешь ли, за что пришел сражаться?

— Я пришел сражаться с этими русскими за отделенную Хакассию, — ответил верзила в дра-

повом пальто и кожаных маймахах. Руки его, сжатые в кулаки, далеко высовывались из рукавов. Одна пола измазана глиной, в другой прожжена дыра. Но над плечом парня торчало дуло тщательно вычищенного карабина.

Серге похвалил добровольца и еще раз прошелся вдоль шеренг.

А солнце поднималось все выше и выше над Хаза-тайгой. Вершины скал, на которых эта осень раньше срока нахлобучила снежные шапки, горели бело-розовым огнем. А в долине, где Серге обучал своих алыпов, было хмуро и сыро. Чадили догорающие костры. От землянок тянуло кислой кожей сапог, овчинами, самогоном. Острым конским духом пахли развешенные для просушки попоны и подседельные потники.

Возле озера бродил поредевший косяк коней. Там понуро стоял Мухортый, повернув одноухую голову в сторону единственного прохода из Хаза-тайги.

Глава 16

Двое приехавших — те, кого заметили Федор Полынцев и Апах, — остановили пароконную упряжку возле аалсовета. Первым спрыгнул молодой широколицый хакас в черных галифе и френче из шинельного сукна. Он подбежал к кореннику, серому плотному мерину с аккуратно подрезанной челкой и тавром на крупе, с правой стороны, в виде буквы «Ш». Мерин шумно отдувался после дороги. Потные бока его то вздувались, касаясь оглобель, то падали, и тогда становились заметными выпирающие из-под шкуры крепкие ребра. Гнедая пристяжная кобылица тоже дышала часто и переступала на месте с ноги на ногу.

— Говорили тебе, Эпсе, Гнедуху надо подко-

вать. Ты не послушался. Теперь, видишь, отбила ноги, — сказал с упреком широколицему парню пожилой горбоносый его спутник.

Вылезая из плетеного короба, он зацепился за что-то полой. Плащ распахнулся совсем, на груди горбоносого блеснула пряжка портупеи. Он откинул назад и капюшон, который предохранял голову не от дождя — погода стояла ясная. В том и другом ухе его торчали ватные затычки: на быстрой езде уши продует. Капюшон упал на спину, и приезжий остался в военной фуражке с малиновым околышем и красной звездочкой над лакированным потрескавшимся козырьком. Поглядев направо, налево, он зашагал по двору, разминая ноги.

Стайка любопытных ребятишек взобралась на заборы на противоположной стороне улицы.

— Орыс чаачи, — указывая пальцами на горбоносого, кричали ребятишки. — Хызыл чаачи!

— О чем они гомонят?

— Они толкуют, что вы русский красноармеец.

— Верно, милый человек! Я вижу, тут никого не проведешь... Да и я припоминаю, что аал этот мне знаком. Куда только не заносила походная жизнь! Вон ту хибарку с тремя новыми тесинами в крыше помню. Правда, тогда вместо тесин чернела большая дыра. И хозяина помню. Балагур, пересмешник. Все передразнивал этого... как его... ну, шамана.

Он еще хотел что-то сказать широколицему парню, но тут послышались быстрые шаги. Во двор не вошел, а вбежал Федор Полынцев.

— Товарищ Жарков! Петр Иванович! — вскрикнул он, бросаясь к приезжему.

— Мил человек! Как ты здесь? — Жарков обнял Федора. Кузнец тоже обхватил Жаркова руками, приподнял, покружил. — Кости ломаешь, —

сквозь смех сказал Жарков, глядя уже не на По-лынцева, а мимо, на улицу, где, кроме ребятишек, начали появляться и взрослые, с изумлением наблюдавшие, как обнимаются только что приехавший хызыл-чаачи и этот Большой Федор.

— Вот что, зайдем в Совет.

Поднявшись по кривым ступенькам на крыль-ц аалсовета, Жарков дернул за дверную скобу. Федор прошел за ним. Сели в прихожей на длин-ную скамейку, стоявшую возле закопченной стены.

— Да-а, аалсовет! — задумчиво покачал голо-вой Жарков. — Больно тут неприятно...

— Мне еще неприятней было, когда в первый раз оказался здесь, — отозвался Полынцев.

Жарков остановил серые глаза на лице Федо-ра, подумал немного, стараясь понять смысл этой фразы, но, так и не рассеяв недоумения, полез за кисетом.

— Рассказывай, как тут оказался? Один или с семьей?

— Всем гамузом... Может, лучше пойдем ко мне? У одного старичка здешнего квартируем. Ва-рюша обрадуется...

— Можно пойти, мил человек. Только уж ко-ли начали здесь, так здесь и договорим. Ты поче-му свою деревню бросил? Выжили?

— Да нет. Сам...

Жарков ждал.

— Поджег я... Касьяна... — выдавил наконец Федор. — Все дотла...

— Узнаю, узнаю Федора!

Полынцеву казалось, что он никуда не уходил из партизанского отряда. И вот теперь командир сурово отчитывает его за проступок.

— В Колтыке ты застрелил пьяного комэска, который подвел ваш отряд, — строжал голос Жаркова. — А его, такого-распротакого, суд ждал.

Помнишь? Я тогда тебе простил... Значит, не дошло до тебя, коли ты в своей деревне опять «сорвался»... Касьяна, значит, спалил. А других-т почто оставил? Там же много кулачья...

— Не мог я Касьяну за дела Фролки простить.

Жарков помахал рукой, разгоняя дым, и, глядя прямо в глаза Полынцеву, спросил:

— Поджег и удрал? Демобилизовался? А как сюда-то попал, к хакасам?

Федор скупно рассказал свою историю.

— Значит, здешние люди считают, что ты бандит?

— Не все... Но на лбу ведь не написано, кто я...

— Вот именно — кто ты? — Жарков притронулся к красной звездочке на околыше своей фуражки. — А у меня написано на лбу... Хотел еще тогда тебе сказать: демобилизоваться рано. Власть-то взяли, а вот укрепить ее труднее. Думал-ты об этом?

— Думал, — приподнялся Федор.

— Так, мил человек, берись-ка ты за дело настоящее. Тут берись. А попутно и мне поможешь. Понимаешь, остатки колчаковцев, сыновья обиженных хакасских баев, сотниковцы все еще думают вернуть свое. Где-то они накапливают силы. Между тем грабят, насилуют, запугивают народ. Против Советской власти настраивают. Придется, браток, на коня. Карабин у тебя испытанный... Пока что организуешь отряд самообороны. Со мной паренек приехал, говорит и по-русски и по-хакасски. За тобой его закреплю.

— Да вы сами-то кто теперь, Петр Иванович?

— Уполномоченный ревкома по Хакасской волости. А работаю начальником уездной милиции. Вот езжу из аала в аал, организую, где можно,

отряды самообороны. По поручению ревкома помогаю аалсоветам создавать комбеды, чтобы они наступили баям на горло. А эту бандитскую нечисть мы скоро прижмем к ногтю... Ну, так как, кого здесь можно взять в отряд, кого выбрать в комбед — знаешь?

— Старик Хоортай, потом Апах, хо-роший мужик! — начал Федор, загибая один за другим крупные пальцы с обломанными ногтями. — Правда, этот Апах собирается на железную дорогу...

— Так же, наверно, как ты в Бондаревку... Постой, постой, а какой он из себя?

— Да такой... Уже в годах. Низенький. Но шустрый.

— Должно быть, он, — пробормотал Жарков. — Ну, а другие.

— Онис с пастухом — мужем, соседи старика. Табунщик Сагдай.

Уполномоченный быстро взглянул на Федора, но ничего не сказал, хотя видно было, что какие-то слова уже готовились слететь с его губ.

А Полынцев, как бы раздумывая, ронял с расстановкой:

— Значит, опять воевать? Карабин-то мне дорог, как память, а вовсе не как оружие. Работать хочется. Без работы руки мякнут. Тут кузницу ставим...

— И ставь кузницу, и отрядом руководи. А карабин заставим отдать, — ответил уполномоченный. — Да-а, слушай-ка, Фролка-то, Харбинка, говорят, не то в деревне вашей, не то в Минусинске скрывается.

— Жив?! — вскочил Федор. Лицо его сначала побледнело, потом покраснело. — Ж-жив? — повторил он, и это слово прозвучало так, как будто кто провел клинком по точилу. — Ну, что же, как

говорится, даст бог — встретимся. Только для одного из нас эта встреча будет последней...

Дальнейшему разговору помешал вошедший Эпсе. Он пришел за распоряжениями.

— Лошади кормятся? — спросил его Жарков. — Вот что, Зпсе. Надо послать здешних парней, кто пошустрее, в степь. Созвать чабанов, пастухов, табунщиков. И сам съезди. К утру чтоб приехали — на сход.

Кнай поворачивает отару к стану. Сытые овцы, пощипывая мимоходом траву, медленно выходят из поймы Чобата. Кнай покрикивает на собак, чтобы не растеряли овец. У кривого тополя, сбрасывающего в Чобат ржавые листья, остановилась, поглядела в зеленоватую осеннюю воду. Оттуда на нее взглянуло круглое лицо с удлинненными глазами, немного сплюснутым носом, маленьким ртом.

Девушка посмотрела на свое отражение, улыбнулась. Невеста. Она надела выпцветший таар, поправила платок, сверкнув колечком. Вот сейчас она угонит отару верст за пять, и дневные заботы ее кончатся.

Много шерсти на шубах у вас, овцы.
А мне на теплый платок жалеете.
Солнце щеки мои сожгло, губы спалило,
А- мне жалко вас оставить, мои овцы.
Парни и девушки в аале веселятся,
Ветры и травы меня веселят.
Сверстницы мои любовь нашли,
А меня целует холодный хиус...¹

Казалось Кнай, что и степь поет вместе с ней. И что это за чудо такое — песня! К любому сердцу найдет она дорогу.

Х и у с — северный низовой ветер.

У кого Кнай научилась петь? В степи у нее нет подруг, а мать молчалива. Если Кнай изредка и встречается с другими девушками, то у них больше, чем песен, — опасений, как бы не смешались отары. Они сами просят Кнай, чтобы она их научила тахпахам. Что ж, ей не жаль слов, которые подсказаны ей сердцем, не жаль мелодий, навеянных шумом ковыля, звоном Чобата, шорохом дождя. Но подруги далеко, а единственный ее слушатель — кривой тополь — не может высказать гиевице ни одобрения, ни порицания. Он только скрипит.

Солнце садилось за дальние горы. Степь стала сизой. Тени чия вытянулись. На небе слиняла синева. Плыли редкие тонкие облака. Холмы и лога молчали. Дремала гора Чымыр-хая, отбрасывая длинную конусовидную тень на озеро.

Отара стояла еще не в загоне. Изредка блеяли ягнята, покашливали овцы. Собаки вдруг аалаяли и побежали к дороге. Из-за холма показался всадник на кауrom коне. Он отбивался от собак бичом и мчался к стану-

— Сейт! — закричала Домна. Собаки, ворча, отошли, всадник слез с коня.

— Изеннер! Долго вас искал. Искружил всю степь, все-таки нашел. — Широкое лицо парня осветилось улыбкой.

— Изеннер, изеннер, — ответила Домна, разглядывая френч парня. — Входите.

Эпсе вошел и, когда его глаза освоились в полумраке юрты, он увидел Кнай. Вернувшись с пастбища, она успела и косички переплести, а заметив парня, мчавшегося к их становью, переменяла еще и платок. Выгоревший на солнце и моченый-перемоченый дождями сняла, а надела новый, что сама вышила. Повязала его хитро — сидел платок на голове Кнай, будто круглая шапочка, а

из-под нее свешивались на плечи косички. Эпсе остолбенело смотрел на девушку, не в силах ни сделать к ней шаг, ни выговорить приветствие. Наконец он робко спросил:

— Как живете? Что слышно в степи?

Кнай и вошедшая в юрту Домна потихоньку разглядывали незнакомца.

— На тоймана¹ походит, — прошептала Домна, наклонившись к дочери. — Что нового в степи? Степь длинная, язык короткий. Смотри траву, смотри небо...

За небогатым ужином Эпсе передал Домне приглашение на сход.

— Какой сход? — недоумевала Домна. — У нас, я не помню, когда был сход...

— Приехал очень большой начальник из Минсуга, — пояснил Эпсе, дую на чай. — Комбед будут выбирать.

— А это что такое?

— Беднякам, батракам помогать...

Глаза его встретились с глазами Кнай. Девушка смутилась. А Домна все замечала.

— Кнай поедет, а я пасти буду.

Парень просиял. Быстро простился, однако порог юрты перешагнул неохотно.

— Кнай, проводи гостя... Собаки...

Вышли, остановились. Эпсе посмотрел на загон.

— Тыщи две?

— Почти угадали, — ответила Кнай. — Как вы можете знать, не считая?

— Приходилось... — ответил Эпсе. — Я с Нижнего Ахбана. Там баи побогаче.

Эпсе снова подал руку Кнай:

— Ну, анымчох², — и долго сжимал ей паль-

¹ Т о й м а н — красный, комиссар.

² До свидания.

цы, глядя в глаза. — До встречи на сходе. — Потом он быстро вскочил на коня.

Хотя на острой макушке Чымыр-хая еще догорают вечерняя зоря, подножие горы обволакивают сумерки. Будто гора замерзла к ночи и закуталась в шубу из черной овчины. Вверху гора голая, а понизу, почти до половины, заросла караганой.

Выше, со стороны, обращенной к стану, в горе зияет, отверстие. Сначала оно было неглубоким, но его углубили люди аала, которые издавна ломают тут известняк. По-разному называют это отверстие в аале — кто «глазом», а кто и «ртом» горного духа. В сумерках угрюмая гора дрожит, от нее далеко раздается стук, словно в этом «рту» зубы чакуют. А на самом деле под горой быстро бежит упряжка, стучат копыта коней и колеса телеги.

В телеге черные силуэты, лиц уже не видно. Передний все время размахивает руками — он то натягивает, то ослабляет вожжи, то хлещет ими по бокам коренника.

Двое других на телеге почти неподвижны.

— Тохта, стой, — сказал один из них.

— Куда это мы приехали? — спросил по-русски его сосед.

— А ты не спрашивай. Уж не туда, куда бы тебя привезли те, которые гнались за тобой в Минсуге.

Тот ничего не ответил.

— Ты, Тирнук, жди здесь, — распорядился Пичон. — Я скоро вернусь. Пойдемте, господин прапорщик Самохвалов.

Тирнуку было слышно, как все больше грузнеют **их шаги, как** сверху, с крутого склона Чымыр-

Карагана — колючий кустарник.

хая, срываются и с сухим стуком несутся вниз неосторожно задетые ногами камни.

«Однако прямо в рот Таг-эзи повел», — поехал Тирнук. Место на телеге показалось ему ненадежным. Он спрыгнул наземь. Обхватив Рыжку рукой за шею и прижавшись, он стоял так, покуда снова не услышал знакомые шаги.

— Теперь в аал... — приказал Пичон.

От страхов, которых натерпелся в эту поездку, Тирнук отошел, только когда подвода доехала до чабанского стана.

Загалдели в темноте собаки. В загоне заворочались испуганные внезапным лаем овцы. «Кем-нер?» — раздался женский голос.

— Изеннер, Домна! — поздоровался Пичон. Чабанка успокоилась,пустила их в юрту. Невидимая за развешенными овчинами Кнай спросила:

— Иче?

— Председатель аалсовета и Тирнук... Ты спи, Кнай, тебе рано утром в аал, на сход...

— На какой сход? — удивился Пичон. — Кто его собирает?

— Какой-то тойман приехал.

Пичон задумался. Долго он сидел неподвижно при свете жирника, отбрасывая на стену горбатую тень. Потом подозвал Тирнука.

— Придется взять с тебя клятву... И с остальных обозников тоже. Поехали им навстречу. Скажешь, бородатый был не человек, а айна, куда пропал — сам не знаю...

Простились и вышли наружу. Их телега с грохотом покатила в ночь.

А в это время в избушке Хоортая люди вели разговор о Пичоне.

— Ну как, у вас председатель грамотный? — спрашивал Жарков старика.

— Грамотный... Этот... — Хоортай дютер морщинистый лоб. — Много учился, говорят...

— Много? Значит, он богат?

— Не, общество собирал ему, говорят, ахча — деньги...

— Ну-ка, ну-ка, Расскажи, мил человек. Очень любопытно!

И Хоортай, задумываясь временами так, что складки на его лбу собирались гармошкой, рассказывал, как однажды, еще до революции, по аалам ездил мелкий чиновник Качинской степной думы с какой-то бумагой. Чиновник тогда всем рассказывал, что в большом русском городе — название города Хоортай забыл — учиться парень-хакас, которому надо помочь деньгами. Приглашал всех поставить крестик на той бумаге и просил по целковому — по два, у кого сколько найдется.

— Люди спрашивали, кто будет тот парень, — продолжал Хоортай. — И чиновник имя назвал, только соврал маленько. Совсем-совсем маленько. «Учен», говорит. А он не Учен, а Пичон... Наш Пичон Почкаев... Так учился, верно... Сейчас в Минсуг поехал. Приедет — сам тебе все расскажет.

Жарков поднял бровь и перевел разговор на другое.

— Дед Хоортай, — спросил он. — Сколько лет твой внук пасет косяки Хапына?

— С семи год...

— Сколько заработал, Сабис? — обратился Жарков к прижавшемуся в углу Сабису. Тот не понял.

— Зачем парнишка заработай? — заговорил Хоортай. — На конь ездит — крепкий будешь. Он отец помогай.

— Он коня заработал, — подал голос Федор, сидевший на положенной набок табуретке перед

раскрытой дверцей железной печки. Оба рукава его были закатаны выше локтей. Правой рукой он прокалывал шилом подошву бродня, левая с зажатым в ней концом дратвы и щетинкой вся была засунута в голенище. — Да еще какого коня-то заработал! — повторил он с похвалой.

— Пегунес, — гордо пояснил Хоортай.

— А отец твой давно пасет? — Жарков наклонился к Сабису. Тот молчал. Тогда он спросил у Хоортая: — Зять-то твой?..

— Пир, ики, юсь... — загибал пальцы на руке Хоортай. — Он алты¹... шестнадцать год.

— Та-ак. Сын — восемь, отец — шестнадцать, — рассуждал Жарков. — А много косяков-то пасут?

— Десять, — вынув трубку, откликнулся от железной печки Хоортай.

— Сколько заработали все-таки сын с отцом?

— Шуба давал, маймахи, товар на рубашки. Худой кобыла на мясо давал.

— А у самого-то у тебя хороший конь?

Хоортай печально опустил глаза, потом вскинул их на Жаркова, потянулся к таяху².

— Вот конь мой.

Жарков выпятил подбородок и прикусил губу. Федор грохнул броднем об пол.

— Вот так обдуривают темноту, — сказал Жарков неизвестно кому — Федору или Хоортаю. — Но так больше не пойдет. — Голос Жаркова был твердым и вместе с тем доверительным. — А за то, что он восемь лет пасет, ему восемь таких коней положено...

— Сагдай — шестнадцать, Сабис — восемь... Тогда, наверно, не Хапын будет бай, а Хоортай.

¹ Пир, ики, юсь... он алты — один, два, три... шестнадцать.

² Т а я х — посох.

Ты чё-то, Петра Иваныча, шибко много говоришь, — приблизился старик к Жаркову. — Ты пришел — ушел. Нам здесь жить...

— Останется комитет бедноты. А ему помогать будет вот, — Жарков показал на Федора Павловича. — Отряд соберет. Командир Эпсе, комиссар — он...

Хоортай оглянулся на Сабиса.

— Агам, агам! — вскрикнул и выбежал Сабис, поняв весь разговор.

Жарков и Федор Павлович переглянулись.

Кузница задымила. Улуг Педор разжег все-таки в горне проклятый камом Аларчоном черный камень...

Сильно обрадоеался кузнице Апах. Каждый мускул лица у него играет, а чертики в глазах прыгают еще пуше.

Переходит Апах из избы в избу, из юрты в юрту с новостью. Чинно рассказывает всем, как он строил кузницу с этим русским алыпом. Сначала получилась избушка, сделанная по-холодному. Затем Улуг Педор начал ладить горно. Кирпичей в аале не было, тогда он, Апах, подсказал — можно из плитняка. Хоортай-ага посоветовал взять готовый плитняк у пещеры Чымыр-хая. Все вместе они туда и отправились на двух подводах. А когда стали накладывать плитняк на телеги, в горе, в пещере, что-то загремело, будто пещера обвалилась. Им снаружи не видно было. Хоортай вздумал посмотреть, но ничего там не разглядел, только запах дышка унюхал. «Лябо человек, либо айна, — предположил Хоортай. И окончательно решил: — Айна. Человек так не гремит...» Улуг Педор, тот покачал головой. Но из пещеры так никто и не показался. Они наложили в телеги плитняку и повезли в аал.

Апах не только новость про кузницу разносит. Он еще и приглядывается к разному завалиющему хламу во дворах.

— Тимир¹ нада, — говорит он всем.

Обошел все дворы, вернулся, растягивая рот до ушей.

— Много железа видел. За оградой Хапына шерстобитка негодный валяется. Под сараем Харола плуг сломанный, — перечислял он, загибая пальцы.

Федор, в кожаном, залосненном еще от прежней работы фартуке, в кожаных голицах, передвигал наковальню. То ему казалось, что она стоит далеко от горна, то — слишком близко к нему.

Горело в горне лопаты с три каменного угля. Пламя было не особо жаркое. Дым шел в кожух, растопыреинный над горном, как ладони, расставленные, чтобы что-то словить. Пока Апах обходил аал, Федор не терял времени даром. Весь угол, что ближе к горну, был загроможден большими железинами непонятного Апаху вида.

— Где взял столько темир? — спросил удивленный Апах.

— Ахбан-суг дал, — ответил Федор. — Понимаешь, друг, мне дедушка Хоортай рассказал про карбас с железом, что затонул в Ахбане...

Апах сразу сообразил, какой это темир! Его выплавляли из руды в Абазе, на железоделательном заводе, что стоит выше аала верст на полтора-ста по Ахбану. Теперь и гора железная и завод — советские. Тут весь Минсугский уезд абазинскими плугами пашет, ихними же серпами жнет. Хоортай сказал Большому Федору про это железо. Теперь осень, Ахбан мелкий. Улуг Педор съездил туда, покопался на песчаной косе и достал железо.

¹ Т и м и р — железо.



— Полос бы шинных да тавровых брусков сюда, — мечтал Федор. — Все бы телеги и сани вам оковал... — Он шагнул к подвешенной гармошке кожаного меха.

— Гляди, Апах! Когда надо подживить огонек, качнешь вот так...

Мех испустил громкий вздох, потом задышал чаще и чаще. Федор передал Апаху ручку, сам взял клещи и встал против горна. Из узкого рожка, подведенного к горну, дула сильная струя. Красные угли затрещали и вспыхнули белым огнем. Враз вишневым стал положенный на угли железный штырь.

— Ковать будем! Сейчас вот кузню опробуем — изладим подковы для твоей Гнедухи. Жаль только, молотобойца у меня нет. Но я тебе, Апах, покажу...

Он выхватывает из горна побелевшую железину и кидает на наковальню. В правой его руке молоток-бегунок. Взглядом показывает Апаху, чтобы тот взял кувалду.

Смешно они выглядят сейчас: грузный Федор, занимающий собой чуть ли не треть кузни, держит в лапище игрушечный молоточек, а тщедушный Апах через силу поднимает пудовую кувалду с расшлепанными концами.

— Бей, куда покажу! — Бегунок в руке Федора подскочил и тюкнул по штырю. Апах с громким выдохом опустил кувалду и промахнулся.

— Гляди! Вдругорядь без рук останешься, — предупредил Федор. — Наковальня ведь холодная, удара не смягчает. Точно попадай...

Дверь кузницы распахивается, и на пороге показывается Хоортай. Увидел Хоортай испорченную подкову и нахмурился.

— Апах?

— Ну так что ж, что Апах? Первый же раз...

— Почто Хоортай не звал? — упрекнул старик Федора.

— Тут молодая сила нужна, дедушка...

— Он — молодая сила? — обидно засмеялся Хоортай, концом трубки показывая на Апах. Подскочил к нему, выхватил кувалду, махнул ею. — Мин умей, умей, — возбужденно говорил Хоортай, глядя умоляющими глазами и держа кувалду на весу. — Клади, Педор Павлыча!

На этот раз ковка пошла.

«Тук-тук», — сдваивал молоточек Полынцева. «Гррук!» — выговаривала кувалда, и еще раз: «Гррук!»

— Погодь! — крикнул Федор Хоортаю и опять кинул подкову в горно. — А ты поддуй, Апах!..

И пока железа калилась, Полынцев выпрашивал старика, где и как он научился работе молотобойца.

— Молодой был, за Алатау — Пестрый гора — ходил, туда, вверх Ахбан, — показал старик за стену кузни. — Шорский народ тама живет. Шорец — все равно хакас, язык такой же, только слова шипи. Мы говорим «сор» — печаль, горе, а он скажет «шор». По-нашему люди — «кизи», пошорски — «кижи»... У шорцев много кузнес. Учили. Темир, однако, в той земле богатый-богатый...

— Выходит, мы тезки по ремеслу? — удивился Полынцев. — Я давно приметил, по трубкам твоим.

— Угу, угу, тезкам! — радостно закивал Хоортай.

— А пошто же сам кузню не ставил? — спросил Полынцев.

— Тогда Хоортай бы весь был Хапынов, — ответил старик.

Федор задумался. Резонно ведь ответил старик. На Апахову Гнедуху надо сготовить четыре подковы, если ковать ее на полный круг, а для Хапыновых коней сколько же подков требуется? Другим аал становится. Батраки идут в комбед, спрашивают, когда заставят Хапына справедливо рассчитаться с ними. Знают, что получать придется скотом. И лошадей ковать, сани да телеги ошиновывать, выходит, будет он, Федор, не одному Хапыну...

Руки сами собой делали работу, закругляли поковку на круглом рожке наковальни, оттягивали шипы — один посредине, два с концов, наметили кернышком и пробили бородком дыры для плоских гвоздей. Наконец, сунули пышущую жаром, вишневую, похожую на молодой месяц подкову в шайку с водой. Шайка вмиг «осерчала», вода в ней стала «разговаривать», выстреливать паром. Утоп и сразу почернел полумесяц.

Только изладили первую подкову, пришел Пулат. Навалился на косяк двери, держась за разорванное ухо. Мимо кузницы шел Тирнук, и он завернул поглядеть на невиданное дело — в аале кузнецы объявились!

Где Тирнук — там второй батрак Хапына, рябой Такан. Он принес на старых истоптанных маймах запах коровьего навоза.

Первая изготовленная Большим Федором теплая еще подкова со свежими следами молота стала переходить из рук в руки. Слышалось восхищенное «чахсы». А кузнец с помощью Хоорта уже выковал и швырнул в шайку с водой другую подкову, за ней третью, четвертую...

— Можно какого-нибудь коня подковать. Ухнали¹ у меня есть, — сказал Полынцев. Понимал,

У х н а л и — подковные гвозди.

что пришло время казать лицом весь «товар» — свое умельство. — Ты, Апах, и веди Гнедуху—

Но Апах успел только растворить дверь кузни, как показался силуэт подъехавшего всадника. Это был Сабис, разыскивающий деда Хоортая.

— Сабис! Палам! — окликнул его старик. Внук услышал, слез с коня, привязал его за один из четырех столбов, вкопанных перед кузницей.

— Вовремя, Сабис, приехал, — сказал Большой Федор. — Вот сейчас твоему Соловому и наденем железную обувь.

— Нада, нада! — поддержал Федора дед. — Конь табунщика всю зиму под седлом ходи, косяк паси. Без подков — худо.

Сабис не возражал. Но, чувствуя вину перед Федором, он опасался, что кузнец теперь-то начнет ему мстить, испортит иноходца.

— Конь не засекается? — спросил Федор.

— Чох, нет, — ответил за Сабиса Хоортай — Кйж&ьда «ога ч&хсд ставит...

— Тогда пойти примерить обновку...

С подковами в руках Федор вышел из кузницы, за ним все остальные.

— Заводи Солового вон туда, — показал кузнец между столбов. Незнакомый еще с ковкой, конь покорно зашел в станок.

Федор взял повод уздечки и продел его в кольцо, ввинченное в один из столбов, подтянув вверх голову Солового. Под брюхо у передних и задних ног пропустил по кожаному ремню. Кольца, которыми оканчивались ремни, накиннул на крючки, вбитые в столбы.

Всякий раз, как он прикасался к Соловому, по бокам коня проходила дрожь. Но задранная вверх и удержанная поводом голова не давали коню увидеть, что такое с ним делают. Почему стал уходить из-под ног дощатый настил? Доски провали-

лись, но Солового удержали подбрюшные ремни. Он повис на них, не в состоянии забиться, расшвырять копытами непонятно для чего сошедшихся сюда людей.

Полынцев сходил в кузню, вернулся с рашпилем.

— Ногу, ногу! — повторял он, приподнимая иноходцу копыта.

Потом Федор опустился на корточки у передних ног коня. Положив на колено копыто Солового, принялся шаркать по нему рашпилем, сглаживая бугорки. Ноздри коня раздувались, глаза налились кровью, натуга свела его всего, от ушей до хвоста. Но ремни, на которых он висел, не давали возможности шевельнуть ни единым мускулом.

— Чтобы подковы держались крепче, лучше ковать нагорячо, — объяснял Федор. — Дедушка Хоортай, держи копыто.

Сам же он поспевал управляться и в кузне, и возле ковочного станка. Вот он держит в клещах раскаленный полумесяц подковы. Вот быстро прикладывает его к копыту. Оно зашипело, запахло паленым рогом. На копыте, там* куда ее приложил кузнец, образовалась впадина, тоже в форме полумесяца. Каждую подкову Полынцев калил и вот так примерял, а потом швырял их в шайку с водой.

Сабис отвернулся, чтобы не глядеть, как мучится в станке Соловый.

Подковы прилипали к ногам иноходца, как влитые. Кузнец вгонял в них сразу ухнали, острия которых выходили из копыт вверх, эти концы он загибал, заставляя их снова войти в копытину, — так загибают железный пробой, чтобы его нельзя было выдернуть.

Наконец сделана последняя заклепка, и Соловый опять ощутил под ногами дощатый настил.

Ремни отстегнули. Иноходец рванулся было, но крепкий повод не дал ему оторваться от столба. Сабису вдруг грустно стало смотреть на него. Куда девалась вся гордость Солового! Он поднимал то одну, то другую ногу, вдруг непонятно отчего ставшие тяжелыми.

— А теперь поезжай, паря! — велел кузнец.

Глава 17

Старый степной беркут привык в полдень описывать круги в вышине над аалом, над степью. Он распластал двухаршинные, сверху ржавые, снизу бурые, крылья и парит. Чуть поднимает одно крыло, приспустит другое — и пошел кружить, будто поднимается или спускается по невидимой винтовой лестнице. Матер беркут, долговекий. Помнит эту степь еще такой, когда под обрывистой горой Чалбах-тигеем возле речки Чобат совсем не было никакого аала. Только большой курган торчал там с воткнутым в подножии высоким накренившимся камнем. Не раз садился на камень. Глядел на изображенное на нем человеческое лицо.

Парит беркут в вышине на крепких крыльях. Надежны его старые мускулы. Под тем и другим крылом — по воздушному столбу. Беркут чувствует, как упруг воздух, — это он растопырил его длинные жесткие маховые перья, загнул кверху кончики крыльев.

Ноги беркута в опушке из перьев поджаты, полуколыца когтей спрятаны. Но ему недолго их выпустить, если глаза увидят добычу. Однако сейчас беркут не охотится. Разве нельзя парить над землей просто так? На то и крылья ему даны, чтобы жить выше всех, — там, куда пока еще не дотянулись жители степей.

А внизу перед крыльцом аалсовета — стол, застланный красной скатертью, за ним стулья. Идет сход жителей аала. Жарков сидит за столом, рядом Пичон, Хоортай.

Пичон поздно приехал, Жаркову сказал, что не знает, кто и зачем собирает сход. Жарков достал из кармана френча отпечатанную на пишущей машинке четвертушку желтоватой бумаги с лиловой печатью уездного ревкома — свои полномочия. Пичон помял бумагу в пальцах, обронил: «Ну, тогда проводите». Но за столом сидел, будто его тут и нет. Всем видом показывал: дело не мое.

Говорил Эпсе:

— Приехал из Минсуга большевик, улуг пастых¹, — кивнул в сторону Жаркова. Улыбаясь, растянул рот до ушей. — Минсуг послал с ним закон. Он говорил об этом законе со многими из вас, а сейчас со всеми говорит... Вы по-русски еще плохо понимаете. Я за него говорю... Советская власть — бедняков и батраков власть. В аалсовете не один, а много человек должно быть. У вас один только Пичон Почкаев. Ему трудно одному. Комбед надо выбрать...

— Какой комбед? — спросили из круга.

— Хоортай-ага, объясни, — Эпси повернулся к Хоортаю. — Ты теперь знаешь...

Хоортай встал, погладил черно-белую бороду, побряхтел, попереминался с ноги на ногу. Показал на Жаркова.

— Мне Петр Иванович говорил. Комоед смотрит: работник с бумажкой пасет — даст коня, корову... Бедным ребятишкам помогает. Шибко правильный... — Старик сел, утирая пот подолом рубашки.

Жарков все время наблюдал то за Хоортаем, то за Эпсе: поняли ли про комбед? Во время речи Хоорта Эпсе одобрительно кивал головой. В толпе кто улыбался, кто почесывал подстриженный овечьими ножницами затылок, кто смотрел на Хоорта, молчаливо раскрыв рот. Кнай спряталась за чьи-то спины, раскрасневшаяся, украдкой поглядывала на Эпсе.

Утром приехала Кнай. Увидела на окнах избы белые занавесочки, поняла — русская женщина их развесила. Пошла Кнай в юрту к своему деду, а того там нет. Стала дожидаться его, но дед так и не пришел, пришла русская светловолосая женщина, поглядела на Кнай по-доброму: «Иди к нам и ты, красавица...» От рук женщины пахло вкусной стряпней, она улыбалась так приветливо, что Кнай не стала отказываться. «Однако хорошие люди», — думает Кнай, сидя на сходе.

Поднялся Хапын и спросил сидящих за столом по-русски:

— Кто должен в комитете быть?

— Чья власть, те должны, — ответил Жарков. Эпсе перевел ответ для всех.

— Власть всего народа, — сказал Хапын.

— Народ — разный, — поднялся во весь рост Жарков. — Вот Кнай, вот другие. На кого они работают? На тебя...

Хапын сел.

Эпсе перевел сказанное Жарковым и спросил:

— Поняли?

По кругу пошло движение, люди зашептались, заговорили.

— Нужен аалу такой комбед? — спросил Эпсе. — В других аалах давно комбеды работают, аалсоветам помогают...

— Кирек, кирек', — крикнула Онис.

' Надо.

— А где коня, корову возьмет комбед? Надо Хапына потрясти. У него все есть, — крикнул Апах, смеясь.

Жарков слушал, а сам вытягивал шею, глядя в толпу. Там, сзади, протискивался, видимо только что приехавший пастух или табунщик. Лицо обветрено, до черноты, усики редкие, кривые, желтые от табака зубы. И глаз не сводит с него, Жаркова... «Он, — радостно екнуло сердце уполномоченного. — Тот самый!.. Значит, и конь живой. Тут...»

— А мне дадут лошадь? — продрлжал шутить Апах. — Если дадут, я сам выберу. Нравится мне его Мухортый жеребец...

— Мухортного Сагдай продал, — еле слышно сказал Хапын, но голос его донесся до того, кризовубого, только что пришедшего на сход.

— Неправда, — вскочил он. — Косяк угнали в Хаза-тайгу. Сам след разыскивал...

«Ну, точно! Это ты и есть, тебя и зовут Сагдаем!.. — узнал окончательно табунщика Жарков. — Но о каком Мухортом они тут говорят? Уж не о моем ли одноухом? Надо расспросить этого Сагдая... И что за Хаза-тайга?»

— Ну, кого выбирать будем? — спросил Эпсе.

— Хоортая...

— Каноя...

— Три человека... Три человека... — повторял Эпсе.

— Тирнука! — крикнули из задних рядов.

— Надо женщину, — сказал Эпсе.

Батрачка Ату встала, вытерла покрасневшие глаза.

— Онис надо... Созыеву...

— Чарир! Чарир!¹ — кричали женщины.

¹ Подходит!

Жарков увидел: поднялись и ушли Хапын с женой, Аларчон, Тойон и еще многие из их сеока.

— Ну, будем голосовать, — предложил Эпсе. — Кто за то, чтобы в комбеде были Хоортай, Каной и Онис, поднимите руки.

Оставшиеся на сходе бедняки и батраки, переглядываясь и подталкивая друг друга, тянули кверху черные потрескавшиеся ладони.

— А теперь есть еще одно дело, — привстал за столом Жарков, найдя глазами в толпе Федора Полынцева. — Растолкуй им, Эпсе... Да пусть вернут сюда бая и его сына...

У степной дороги собрался народ. Верховые спешились. Кто приехал на телегах — слез. Впереди шел Федор, за ним Пичон, Жарков, Эпсе. Сзади с любопытством наблюдали Хапын и Тойон. Хоортай в сторонке о чем-то спрашивал Сабиса, сидящего на Соловом.

— Вот, — показал Федор Павлович, — один кол. Вон — другой. Здесь сворачивали, а там выезжали на дорогу. Теперь пойдемте во-он к тому кургану.

Толпа повалила за ними. У небольшого кургана с камнями, торчавшими по бокам наподобие столбов, Федор остановился.

— Вот здесь мы его взяли. Пестрая собака здесь дралась с беркутами. Одного, кажись, искусила...

Федор поманил Сабиса:

— Подойди сюда.

Сабис решительно подъехал. Тойон стоял тут же и не спускал с него глаз.

— Он, наверно, ничего не помнит, — махнул Федор, что-то разглядывая на земле. Потом зашагал куда-то в сторону. У куста чия остановился.

— Идите сюда!

Люди подошли. Федор поднял лапу беркута.

— А потом он подъехал, — Федор указал на Тойона. — Угрожал...

— Чойланча, чойланча!¹ — быстро выкрикнул Тойон.

— Палам, скажи правду, — потребовал Хоортай у Сабиса.

Удивленно раскрытыми глазами рассматривал молодой табунщик курган. Это место ему было знакомо, но он хорошо помнит, что не приезжал сюда на Соловом. «Неужели я так долго тащился за стремянем, что оторвался только здесь?» Ему захотелось спрятать лицо в гриву Солового, зарыться в ней, чтобы не видеть уставленных на него глаз деда Хоортая, Большого Федора, приезжего комиссара. Сабис, вздохнув, слез с Солового, наклонился к земле, сделал вид, что он что-то рассматривает. Но заметил — Марик тут.

— Палам, говори... — дед Хоортай строго смотрит на Сабиса. И Соловый тычется мордой в плечо. Может быть, Соловому хочется, чтобы молодой табунщик поскорее сел ему на спину, разобрал поводья, гикнул и — ускакали бы они в степь, подальше от этих людей, которые заставляют их зачем-то томиться воле низенького, невидного курганишка. Никто не понимает, что, если Сабис не встанет на сторону Тойона, ему уже не сидеть на этой золотистой спине, не расчесывать ковыльной гривы коня, не трепать рукой горячей тонкой шеи

— Солового отберут, — чуть не плача, с трудом выговорил Сабис.

К нему подались все, стараясь лучше понять, что он такое сказал.

¹ Врет.

В глазах Сабиса Зоййа мельтешит, белеют ее волосенки, выбившиеся из-под заячьей шапки, Зойка, видно, узнала курган.

— Мама, гляди-ка, во-он она!

— Что ты увидела, доча? Где?

— Бутылка!! — звонко кричит Зойка. — Наша!

Бутылка пошла по рукам. Опять зашумела и смолкла толпа. И все услышали, как Сабис горестно повторил:

— Отберут Солового...

Жарков, распахнув дождевик цвета блеклой травы и обнажая на груди косой ремень портупей, шагнул вперед:

— Слышали? Запугали мальчишку. Парень, яе бойся. Коня у тебя никто не отберет. Ты не одного таког заработал.

Эпсе перевел.

Сабис припал к ногам Хоортая:

— Агам, агам!., Мин чой..¹

Медленно-медленно распрямился Сабис. Сначала он смотрел в землю, потом робко нашел глаза деда. Осторожно повел головой, скользнул взглядом где-то ниже лиц Федора, Вари, протолкавшейся поближе Марик. И уже рывком повернул голову влево, где стояли окруженные работниками Хапын и Тойон, оба в лисьих малахаях, в новых суконных таарах..

Размазывая грязь по лицу, Сабис вытер слезы кулаком, шагнул к Тойону.

— Он коня пугал. Вон там... Я упал, нога осталась... Соловый тай поволок, больше не помню... Потом увидел — аалсовет.

— Меня обманул! Весь аал обманул, айна! — закричал Пичон, подскакивая к Тойону. — В

¹Я соврал.

Минсуг его надо отправить! А вы, Федор Павлович, извините, — остановился Пичон перед По-лынцевым. — Ружье ваше можете получить в аал-совете...

Быстро разнеслись новые вести по аалу. Говорили, что Улуг Педор не виновен и что теперь Тойон отвечать будет; говорили, что комиссар — тот самый хызыл-чаачи, который когда-то оставил Сагдаю Мухортого. Будто он сильно жалел, что конокрады угнали одноухого жеребца, обещал послать отряд милиции по их следу. А еще — самое важное — это он сосчитал Сагдаю, сколько тот заработал у Хапына.

— Шестнадцать коней! — с удивлением толковали батраки.

Рассказывали, что Каной пришел к комиссару, просил сосчитать, сколько коров за восемь лет заработал он и Терпей. Будто бы комиссар насчитал очень много.

Ребятишки разносили вести по аалу:

— Пятьдесят коров возьмет у Хапына дядя Каной...

И еще одно событие взволновало весь аал: будто бы Каной явился к Хапыну.

— Пришел рассчитывать, — войдя в дом Хапына, сразу сказал Каной.

Хапын испугался: комбедчик пришел, а в аале все еще живет комиссар Жарков. И этот большой мужик-кузнец, которому Пичон отдал карабин, никуда отъезжать не собирается.

Молча глядел Хапын на Каноя.

— Свой своего грабить пришел? — налетела на Каноя Тапчи. — У тебя чей сеок? Не его ли? — указала на мужа.

— Мы рассчитаемся, Каной, рассчита-аемся, — тянул Хапын. Смысл слов его был темен, они

напугали Каноя, и пастух будто бы поспешил уйти.

И еще. Будто бы встретил Хапын Жаркова и говорит:

— Комиссар, я работникам хочу подарки делать. В т Каной — мой харындас, брат, значит. Я ему два хороший коров дарю.

Жарков будто бы усмехнулся и сказал:

— Две-то мало, наверно, будет. Пусть комбед сосчитает. И Каною и другим работникам.

К удивлению Жаркова, аалсовет был чисто вымыт. В печурке трещали лиственничные дрова. На окнах белели шторы. Из кабинета вышел Пичон, приветливый, сияющий.

— Проходите, проходите, — приглашал он.

— Вот это порядок! — похвалил его Жарков.

Хоортай, Онис, Каной сидели на лавках.

— Как будем рассчитывать пастухов? — спокойно спросил Жарков у Пичона. — Вот комбед, пусть сосчитает.

— Пилебис, разберем, — ответил Каной.

— Вот вместе и делайте, — повернулся Жарков к Пичону. — Комбед должен немедленно приступить к работе.

Заговорила по-своему Онис. Эпсе переводил:

— Ребятишек учить надо. Плохо, если хакасы не знают грамоты.

— А найдется из ваших грамотный человек? — спросил Жарков Пичона.

— Школу обязательно надо открывать. Губенков приказал, — нашелся председатель. — А вот учителя нет.

— Зачем нет? — волнуясь, выговорила по-русски Онис. — Варвара меня учил. Он пиши, читай. Сан пёк¹.

¹ Задачи решает.

— Чарир, чарир, учитель будет, — поддержал Каной.

— Назначим, — с готовностью согласился Пичон.

— Если народ не возражает, назначайте. Распоряжение пришлем, — заключил Жарков.

И такая радость за свою Варю, книжницу, охватила Федора! А потом он подумал, что радоваться нечему, ведь Варя хакасского языка не знает. Сказал об этом Жаркову.

— Пусть учится у Онис, — возразил уполномоченный. — А школа где будет? — спросил у Пичона.

— А вон у Хапына четыре комнаты, — сказал Каной. — Две комнаты отделить, дверь прорубить, вот и школа.

Пичон вдруг словно захлебнулся, глотнул воздуха. Лицо побагровело, глаза выкатились. Но он справился с собой и даже поддержал Каноя:

— Пойдет, пойдет...

— Так дайте распоряжение сейчас же оборудовать школу.

Комбедчики поднялись. Каждый попрощался с Жарковым за руку.

— Так-то, милые люди, — говорил им уполномоченный. — Наводите в аале наш, советский порядок...

В аалсовете задержались трое — Пичон, Жарков и Полынцев.

— Так-таки, товарищ Почкаев. Где ты, говоришь, учился? В университете? Не окончил, значит? А на какие деньги учился?

Ни одна жилка не задрожала на лице Пичона. Готов был к такому вопросу. Ответил:

— Общество учило меня. Собирали деньги.

«Совпадает с рассказом старика», — успокоился Жарков.

— Пир, ике, юсь, — загибает морщинистые пальцы на правой руке Хоортай. Кожа на подушечках большого и указательного — коричневая, оттого что он постоянно придавливает ими горящую насыпку в трубке.

Старик высчитывает, сколько же времени живет в аале Большой Педор. Выходит, что три раза успел родиться и сойти на ущерб месяц. Однако теперь совсем останется здесь Улуг Педор. Говорка худая кончилась. Дело шибко хорошее есть и у него, и у бабы. Девчонка в школу пойдет. Куда им еще ехать, зачем?

Пора уже Домне пригнать отару в аал. И Сагдаю время подошло пасти табун не в степи, где все ошипано, выбито, а на островах по Ахбану. На островах выпасов нет, одни покосы летом были. Хорошая отава успела нарасти. Сейчас-то она давным-давно пожухла. Ноябрь на дворе. Скоро снег повалит. Да ведь здешние степные кони умеют добывать себе подножный корм. И овечки умеют. Копытят занесенную траву, хорошо наедаются за день.

Домна и Сагдай будут пасти овец и коней поблизости от аала. Но где они станут жить, если избушка занята? Надо отказывать Большому Федору. А как? Язык не поворачивается...

Наклонился Хоортай над очагом, дует на угли. Подложил в очаг сухого хвороста, а сверху накрыл кизяком. Теперь в юрте будет тепло.

Кнай сидит на деревянной кровати, разбирает косички. Глаза перебегают с предмета на предмет, но ни на одном не останавливаются. Кислый запах молочной сыворотки щекочет ноздри. Старик каждый день, как подоит Белянку, сливает в кадку молоко, оно сбраживается там и превращается в

напиток айран. Каждую осень айраном отмечается приезд матери и отца домой. Собираются соседи и пьют айран ведрами. Допьяна не напьешься, только смех станет веселее да разговор громче...

«Если бы на угощение пришел этот ласковый оол Эпсе», — думает Кнай, переламывая брови и особенно тщательно заплетая косички. Она снова приехала в аал с тайной надеждой встретиться с Зпсе. Тогда, после схода и поездки в степь к колышкам Полынцева, он проводил ее до юрты деда Хоортая. Шел рядом, поскрипывая новыми сапогами, от которых пахло дегтем. Говорил негромко, все время наклоняя голову поближе к ее лицу, одергивал на себе серую тужурку с накладными карманами на груди и с боков и рассказывал, как учился в русской школе, жил в Минсуге. Мать он не помнит, а с отцом пасли байский скот. Отец простудился и умер. Взял его к себе товарищ отца — русский. Много в его рассказах было непонятно ей, выросшей в степи. Вот какое-то «ки-но». Будто бы на большом полотне движутся люди — тени. Разве может быть такое?

Кнай заплела косичку, откинула голову назад, держа перед собой осколок зеркала. В тусклом зеркале да при тусклом свете лицо Кнай — нехорошее.

— У-у! Совсем Аязым-арыг!

Аязым-арыг — это старуха из древнего сказания, которое однажды услышала Кнай от бродячего хайджи. Эпсе не станет любить такую...

Мать отпускает ее в аал, понимает, что тянет дочь из степи. И девушки-сверстницы собираются там на оюны — вечерки, как прежде, играют или загадывают друг другу загадки. А то есть еще — ворожба. Придут стайкой в потемки к заброшенному нежилому дому и тянут руки в пустынные оконницы, вдруг да айна — домовый их коснется.

Прикосновение мохнатой руки сулит девушке богатство в замужестве. А парни прознают о ворожке, заберутся в дом и хватают их за руки. Сколько тут визгу, смеху! Да и страшновато все-таки...

Мать совсем оправилась после того, как ее помяли овцы. И теперь часто приезжают отец и брат, так что она там не одна. Вот почему Кнай не спешит из дедовой юрты к Красному озеру.

— Хоп! — громко говорит Хоортай, ударяя ладонь о ладонь. — Придумал!..

— Что такое придумал, дед?

— Вы где вчера ворожили? В пустом доме на отшибе за нашим двором? Айна там живет, Аларчын говорил... Как не будет там жить айна, когда хозяйева умерли? И может, айна русских испугается, уйдет? — непонятно спрашивает дед. — Пусть Педор Павлыча просит в аалсовете этот дом.. Пичон не захочет отдавать — комбед есть...

Все морщинки и рубцы на лице Хоортая несколько раз собрались и распустились, как мехи гармошки. Хоортай велел внучке собираться на пастбище, к матери.

— Скажи ей, пусть приходит. Помочь сделаем Педору Павлычу. Дом белить надо...

Глава 19

Ударили морозы. Домна и Кнай перегнали отару в аал.

Овечье зимовье совсем простое. С наветренной стороны, близ ограды Хоортая, там, где был конопляник, навалили кучи раkitника, ветер наметает на них сугробы, и под их защитой ночуют овцы. Притоптанный навоз служит им подстилкой. Сами чабанки поселились в своей избушке, которую освободили Полынцевы.

Выйдя из избушки, к овцам, до рассвета, Кнай посмотрела на звезды. «Небо ясное, морозное, бурана не будет», — решила она.

Утром Кнай погнала овец тебеневать. Пастбище знакомое — лог Чымыр-хая, исхоженный ею вдоль и поперек. За логом — гривка, а перевалишь ее — начинается подлесок. Снег прикрыл траву, но это не беда. Овцы знают свое дело, не утомимо работают копытцами. Копнут раз, другой — и вот он, корм. В тихие дни Кнай удаляется с отарой от зимовья верст на десять. Ближние пастбища она бережет — вдруг соберется буран, тогда она и сравит отаре эти загонки.

Восход застал ее с отарой на перевале. Девушка ехала на смирном чалом меринке. И грива Чалого, и воротник шубы заиндевели. Лицо молодой чабанки покраснелось от ядреного морозца. Чтобы не очень студило, Кнай повязалась поверх шали синим платком. На руках у девушки рукавицы, вышитые разноцветными нитками, за опояской заткнуты другие — мохнатые, их она надевает в сильный холод.

Перебравшись через лог, овцы набросились на нетронутое пастбище с подснежной травой. Четыре рослые собаки подгоняли отставших животных. «Здесь буду пасти до вечера». Однако вскоре ей вновь пришлось сесть на коня: овцы стали разбредаться. Кнай на Чалом рысила вокруг отары, собирая ее в кучу, подбадривала собак. Скоро ей пришлось извлечь из-за опояски меховые рукавицы.

Объезжая пастбища, Кнай увидела машистый волчий след. Но днем, в ясную погоду, да еще с надежными псами, девушка не боялась волков. И все-таки она чаще кричала собакам: «Э-э-эйсь!»

Время тянулось: только поскрипыванье снега да перестук овечьих копыт. Заблеет какая-нибудь

отбившаяся ярка, и тут же раздается хриплый собачий лай. Сиргун или Коктир подгонят замешкавшуюся овцу к остальным и бросаются к своей хозяйке, виляют хвостами, заглядывают ей в лицо, докладывают: «Видишь, ты еще и крикнуть нам не успела, а мы уже навели порядок». Чабанка достает из арчимаха корку ячменного хлеба.

Кнай привыкла к одиночеству. И все-таки хорошо было бы с кем-нибудь поговорить. Перед глазами девушки возникает лицо Эпсе. Вспоминает она, как после схода Эпсе подошел к ней, ласково поздоровался, пригласил прогуляться.

А в последнее время Кнай не видит Эпсе. Он часто уезжает куда-то с Жарковым и ее отцом Сагдаем. Потом собираются у Полинцевых — в том самом раньше пустом доме, где девушки любили воровать. Дом отремонтирован. У Полинцевых была помочь. Даже мать ее ходила, помогала Варваре Петровне белить стены и потолки.

Кнай очнулась, чуя, как под полы ее шубы поддувает. Поглядела вдоль лога. Там уже шла поземка. Струи снега тянулись, как ручьи, степь казалась переливчатой. Прошло немного времени, ветер усилился, вокруг засвистело, завывало. Чабанка принялась заворачивать овец, но отару все катило ветром.

Около полуночи выюга пригнала овец к чему-то показавшемуся Кнай высокой темной стеной. Стена шевелилась. «Лес, — поняла Кнай. — Тут ждать до утра».

Соскочила она с коня, привязала его к тонкой березке, удлинив повод уздечки арканом. Окликая собак, обежала отару, собравшуюся на глухой еланке среди густоборья. Сколько тут овец? Все ли дошли? Овцы набрели на невывезенную копну, захрустели сеном. Кнай привалилась к копне с подветренной стороны.

Сколько продремала она — не знает. Ветер все так же пробрасывает сквозь деревья снег. Звезд не видно. Может быть, скоро наступит рассвет. Овцы сбились в кучу, ни одна не ложится — холодно. Собаки жмутся к копне. Кнай чутко вслушивается в лесные шумы, пристально вглядывается в темноту. Вдруг послышался конский топот, раздался вроде бы человеческий крик. «Ищут отару и меня!» — обрадовалась чабанка. Кто-то едет верхом, понукает коня. Собаки бросились в ту сторону, лают, но не так, как на чужого. Чалый вытянул шею, заржал. Другой конь оглянулся.

— Кнай! Кнайях! — кричал всадник. — Вот где я тебя нашел! — Она узнала голос Эпсе. — Долго ехал. След все время терялся. Собаки залаяли — помогли найти...

— Один ехал? — спрашивает Кнай.

— Зачем — один? Пулат и Апах были со мной. Еще работники Хапына. Разъехались в разные стороны.

Эпсе умолчал только о том, что сам он поднял тревогу в аале, когда не вернулась Кнай.

На рассвете приехали остальные, погнали отару к жилью. Кнай подъехала к Эпсе совсем близко, силясь растянуть в улыбке нахолодавшие губы.

— Ты, Эпсе, однако, смог бы жить в степи, как мой брат и отец...

— Запомни, Кнайях... Это место... — и он показал на высунувшуюся из-за холма вершину Чымыр-хая, похожую на сахарную голову.

Кнай встревожилась: «Что такое! О чем он?..»

А у Эпсе из головы не выходит: «Когда искал отару, видел — огонь светится на склоне Чымыр-хая. Кто его зажигал? Маленький такой огонек. А может быть, просто в глазах замельтешило? Вон и кустарник, возле которого отверстие пещеры темнеет, будто разинутая пасть».

Батраки получали расчет у Хапына. Распоряжался дедушка Хоортай, потрясая черно-серебряной, будто хвост лисицы-сиводушки, бородой. Она, строго поджимая губы, ходила за ним следом с тетрадкой в одной руке и карандашом в другой. Губы лиловели от карандаша, который она иуслила всякий раз перед тем, как вывести что-то в тетрадке.

— Крестик — будет Тирнук, — говорила она. — Кружок — будет Такан. Ну, два крестика — дед Хоортай...

— Тебе, Тирнук, — корова и конь. Выбери, — сказал Хоортай.

Тирнук, сын старой Мангынас, высокий, худой, бельмастый, презрительно скривил губы; он пользовался особым доверием Хапына и Тойона. Ему было не с руки ссориться с сеоком Почкаевых. Однако и комбеда ослушаться не посмел. Выбрал белобокую стельную корову и жеребую игреневую кобылу.

Тапчи то и дело подбегала к коровам и выщипывала у них из пахов шерсть, колдовала:

— Мой ырыс! Мой ырыс...¹

Хапын стоял, навалившись на забор, молчал, глядя на комбедчиков и батраков. Федор и Жарков внимательно наблюдали за происходящим.

Пичона в аале не было.

— Гляди-ка, милый человек, что это там? — тронул Жарков Федора за плечо и кивнул в сторону чобатского откоса. Федор посмотрел и увидел: на Чобате прорвало лед. Должно быть, где-то в русле речки намерз затор. Вырвавшаяся из-под льда вода пошла поверху.

Людям казалось: сегодня со дна Чобата забили новые родники.

¹ Ы р ы с — счастье.

По аалу пошел слух: где-то вблизи поселился айна. Лица не видно, только шерсть и красный нос.

Из дома в дом, из юрты в юрту передавали аальцы: видели айну ночами и в ограде Хоортая, и под окном дома, в котором живет Пичон. И что айна ходил к новой кузнице. А еще видели его около теперешнего жилья Полынцевых.

Первым увидел айну в аале Пулат. В тот вечер Пулат засиделся допозна у Апахы, домой возвращался в темноте. Подходя к своему двору, услышал Пулат приближающийся топот конских копыт и прижался к плетню. Очень близко от него проехал одинокий всадник. В это время Онис, наверное, переставляла в избушке лампу. Свет брызнул из окна, и Пулат различил заросшее лицо всадника. Тот миновал плетень. Пулат не знал, кто бы это мог быть. А едет по аалу уверенно. Оробев, запыхавшийся Пулат прибежал домой.

Видел айну и Федор. Глубокая ночь была. Окна дома без ставней, так Варя завесила их изнутри.

Федор, однако, не спал — мало ли о чем ему думалось! Может, походы партизанские вспомнил... Потом за одним окном послышался шорох. Федор встал, подкрался, прячась за косяк, осторожно приподнял край одеяла, которым было занавешено окно. Снаружи немного отбеливало ночное небо. Федор увидел прижавшееся к стеклу чье-то лицо, черты его, однако, невозможно было разобрать. Тут же отпрянул назад, к стене, на которой висел карабин. Налетел на табуретку, та загремела.

— Федя, кто там?

— Тише. Молчи... — Федор сдернул карабин, **иодскочил** к окну, сорвал одеяло. За окном никого не было.

— Он китрай. Растаял. — сказал утром Хоор-**тай**, выслушав куэнеца. — Пулат говорит, чисто **Таг-эзи**.

— А ты сам видел Таг-эзи хоть раз в **жизни**? — спросил Федор.

— Слышал только. А Пулат хорошо его раз-**глядел** — черный шерсть, лицо нет, только нос **красный**, шуба черный, катанки большие...

Варя ничего не могла понять, но сильно встре-**• ожилась**: «**Как** бы с **Федей** чего не случилось, **Зоюшке** бы какого лиха не сделали...»

И вот она с полными ведрами на коромысле идет от Чобата к дому. Сюда ей дальше носить во-**ду**, чем в избушку Хоортая. Плохо протоптана **тропинка** в снегу к новому гнездовью. Сугробы на **пути**, вязнут в них пимы. Пурхается Варя в **Фе-доровом** дубленом полушубке, полы метут снег **понизу**. Руки Вари распяты на коромысле. Вода в **ведрах** покачивается, льдинки звенят.

Старый дом похож на гриб боровик, только **шапка** на нем снеговая. Нанесли на крышу бураны **аршина** два снегу. Варя слышала от Хоортая, что **такая** зима — невиданная здесь, непривычная. Хакасы привыкли к бесснежью, сена для скота за-**готовляют** мало — надеются на тебеневку, когда **овцы**, коровы и лошади сами копытят подножный **корм**. А от снежной зимы аальцы ждут чего-то **такого**, что всем на удивление. Только вот что это **будет** — радость или горе?

У старого дома нет ограды. Прямо с пустыря **Варя** ступает на покосившееся крылечко. **Коро-мысло** у нее на плечах скособенилось, ведра кач-**нулись**, сплеснулась на ступеньки вода.

Федор слышал изнутри, что она топчется

на крылечке, открыл дверь, помог снять ведра с коромысла. Шагнула Варя через порог, в тепло, зашуршал мерзлый полушубок, закрипел принесенный на пимах снег. Федор следом занес в дом оба ведра. Зойка в одной поневке, босиком — и тоже к ведрам. Присела возле них на корточки и разглядывает, что там, на дне. Не принесла ли мать и сегодня в воде жука-плавунца? Больно заняты кажутся Зойке эти жуки. Возьтятся-возьтятся на дне, а потом вынырнут наверх, пошевелият лапками и снова вниз. Только, когда опускаются опять, кажутся серебряными. Под каждой лапкой, под брюшком держит жук какие-то блестящие горошины. Откуда они взялись? А это вовсе не горошинки, а пузырьки воздушные. Мать говорит, что этим воздухом жук дышит под водой. Вот какая она умная, мама Варя. За это ее учительницей назначил дядя Жарков...

— Простынешь, Зоюшка, босиком-то, — говорит дочке Варя. — Беги, сядь на постель...

Пол в кухне и в горнице — ледяной. Да ему и не бывать теплым. Ремонтировали-то этот заброшенный дом наспех. Ладно еще, Хоортай печь подправили и побелено внутри, и натоплено, а своим, полынцевским, еще не пахнет. Пусто в комнатах. В прихожей — стол с почерневшей столешницей да широкая лавка, приставленная к печке. А в горнице видно большую самодельную деревянную кровать и топчан поменьше, на нем Зойка спит. Когда они дома одни, просторной кажется старая хоромина. А сейчас в ней вдруг тесно показалось Варе. Отчего бы?

Когда вошла, не сразу разглядела, что на лавке ранние гости сидят — Хоортай, Каной и Онис, в шубах и в шапках. На голове у Онис из-под одной шали выглядывает другая. Тревожно переглядываются между собой гости.

Онис поворачивается на лавке, неловко поворачивается из-за своих одежек, обшаркивая рукавом побеленную печку.

— Пулата ковыл Рыжка умер... Чогол теперь.

— И Терпей корова тоже, — сказал Каной.

— И у Такан корова пропадает, — добавила Онис. — Все Хапына скот брали. Айна, говорят, кушает.

Опять айна!..

В глубине леса за горой Чымыр-хая, где пережидала метель с отарой Кнай, есть обширная елань, посреди которой стоит старая лиственница. Бугристый ствол лиственницы, покрытый шелушащейся корой, в толщину несколько обхватов, а чтобы с земли увидеть ее макушку, надо так запрокинуть голову, что свалится шапка. Черными кажутся голые ветви, лишенные в зимнюю пору хвои. В трещинах коры тут и там смолистые натеки. Сколько лет лиственнице — двести, триста? Не одно поколение хакасов косило траву на этой елани.

Конские следы... Ведут они к одинокому стогу, сметанному здесь работниками Хапына. Если лучше приглядеться к стогу, можно увидеть в нем нору, из которой время от времени высовывается человек в кожаной ушанке с козырьком.

И конь наготове...

Лицо человека почернело от мороза, в бороде сухие былинки сена, усы заиндевели. Но в стогу ему тепло, к тому же в кармане шубы у него фляжка, из которой он время от времени делает по глотку. Самогон-первак обжигает рот.

Человек вздохнул, полез в карман, достал часы с истершейся крышкой.

— Пора бы...

Конь наострил уши.

— Эй, Фрол Касьяныч! Не пальни случайно. Это мы... — слышалось из-за деревьев.

Приехавшими были Пичон и Серге. Оба в волчьих малахаях.

Пичон вывалил арчимах со снедью:

— Берите, Самохвалов, это подорожники. — А сам продолжал незаконченный разговор с Серге: — Ну, сколько в армии-то теперь?

— Человек чetyреста...

Бородатый уплетал мясо, отхлебывал остывший чай из туска. Пичон при лунном свете разглядывал то одного, то другого.

— Ну, долго нам тут рассиживаться некогда. Фрол Касьяныч принимает командование, а ты — к Унгерну...

— Станут ли мне доверять? — спросил бородатый. — Там же все ваши.

— До возвращения Серге. Ненадолго, — сказал Пичон, разливая спирт. — Понемпржку—

— Там мой заместитель есть, — ироговорил Серге. — Он будет командовать. Твое дело — военному учить...-Там есть и несколько русских, сотниковцев.

— То, что тебе крайне нужно, — перебил Пичон, наклоняясь к бородатому, — придет время, может, я выполню... А дольше оставаться здесь нельзя. Поынцев аал мутит. Сегодня в отряд самообороны человек двадцать записал. Ночью аал охранять... Поймают тебя. На тропах Хаза-тайги выставь охранение. Сагдай пронюхал, куда ушел табун Мухортого. Он, наверно, и Жаркову об этом донес. Только зимой без проводника красным туда не пробраться, а Сагдай дороги не зиает. Зиму продержитесь, а весна придет — сами ударим по Минсугу... Вот это, — Пичон показал на второй арчимах, — увезешь в Хаза-тайгу. Лучшее оружие. Разобранное...

Харбинка приподнял арчимах.

— Тяжелый. Пуда четыре будет.

Все трое сели на коней. Прощаясь с Серге и Самохваловым, Пичон несколько задержал руку Серге:

— Ты хороший связной. С самим Оловьевым связал и с Унгерном сумеешь. Бумагу береги...

Эпсе рассказал Федору про огонек, который мелькал в пещере.

«Да, нет дыма без огня, — подумал Федор. — Значит, все-таки там кто-то был, когда мы с Хоортаем ездили за плитняком».

Решили собрать аальцев, поехать и хорошенько осмотреть пещеру.

Она глядела на степь, будто око. А еще походила на рот, который разинула гора. Шагнув в полутьму, Федор ушиб ногу о камень, торчавший, как порог. Стены были закопчены.

«Жил тут, а может, и сейчас прячется где-то за выступом?»

— Кидаю гранату! — крикнул Федор в зев пещеры. А швырнул просто камень. Может быть, испугается за жизнь айна, отскочит от стенки.

Камень ударился о выступ, но все было тихо. Вместе с Эпсе прошли вперед, чиркая спичками. Вдруг случайно увидел Федор на стенке выпарпанное слово «Борьба».

«Русский тут жил», — понял Федор.

— Айна ушел, — заключил Хоортай.

Глава 21

В ту ночь два всадника переехали Ахбан по льду.

Морозный куржак покрывал густо заросшее лицо Харбинки, серебрился на мерлушковом во-

ротнике его шубы. Харбинка поднимал голову и смотрел на ушербный декабрьский месяц, повисший над заметенными в снега кустами тальника, над темнеющим лесом. Ему казалось, что с месяца вниз во все стороны осыпаются колючие иглы, он чувствовал, как они впиваются ему в щеки. Попали на ледяную проплешину. Подковы дробили звонкую поверхность толсто намерзшего льда, и Харбинка ежился. Сказались недели, прожитые в пещере Чымыр-хая.

Зачем приходил? Хотел подкараулить Федора Полынцева. Один раз даже подкрался под окно того дома, на отшибе. Наверно, Федор услышал и всполошился, но состорожничал — не вышел. А стрелять внутрь, в окошко, Харбинка не стал. Так и ушел он, Фрол, в ночь, в заснеженную пещеру, на свою лежку. Утром опомнился — неосторожно поступил, мог испортить Пичону все дело, а оно у него не шутейное. Если выгорит у Пичона, выгорит и у Харбинки. Федор все равно попадется на узкой дорожке.

Студено. У Харбинки настыли и задеревенели ноги в стремянах. Все больше ледышек намерзает на усах и бороде. Согреться нечем: фляжка с самогоном выпита. Но, может быть, его согреют воспоминания? Начал думать о Варе, так и не идет она из памяти. Попытался представить ее теперешнюю. Видел Варю издали, и не раз. А так, чтобы в глаза друг другу поглядели, — это не привелось. Помнит тот, давний, крутой излом бровей, родинку на правой щеке, серую дымку глаз. «С тех пор люблю...С тобой бы всю жизнь...»

А на что ему надеяться, беглецу, изгою? Что он может предложить Варе взамен жизни с Федором? Чтобы она разделила с ним, Харбинкой, его скитания? Он понимает, что думы его о Варе — зряшные. Но, может быть, они только сейчас на-

прасны? Еще многое может перемениться впереди... Он отводит руку за спину, нащупывает притороченный на крупе коня выюк с оружием. А месяц все сыплет морозные иглы. И висит он в небе с левой стороны — это плохая примета.

Впереди едет Серге, на нем поверх кожанки надета доха, сшитая из серо-бурых косульих шкур. Полы дохи свисают до стремян. На голове мохнатый малахай. Тепло оделся Серге, по-таежному. Из воротника у него парит. Время от времени он всем туловищем поворачивается назад, окидывает взглядом Харбинку и снова взмахивает камчой — «греет» каурого жеребца.

Уже когда миновали реку и выехали в тальник, справа раздался волчий вой. Харбинка натянул поводья, рука скользнула за пазуху — за наганом. По-другому повел себя Серге. Он продолжал ехать, откинулся на седле назад, глубоко вдохнул морозный воздух и, неожиданно для своего спутника, тоже завыл по-волчьи. «А-ва-уу! А-ва-уу!» — неслось над стылým ракитником.

«Кони не пугаются, — начал соображать Харбинка. — Значит, и те голоса были не волчьи...»

Недалеко от них захрустел снег. Навстречу выехало четверо верховых. Над плечами покачивались винтовочные дула. Лошади, пуская ноздрями пар, потянулись друг к дружке обнюхиваться. Каурый жеребец, на котором сидел Серге, прижал уши и, взвизгнув, укусил чьего-то коня.

— Эй, оол, не подъезжай близко, — предупредил Серге. — Загрызет.

Сдерживая поводьями ретивого жеребца, он распорядился о чем-то по-хакаски. Харбинка понял, что речь идет о нем. Прибывшие разделились. Двое поехали вперед, приглашая и его следовать за ними. Двое остались с Серге, который повернул Каурого снова на лед Ахбана.

В это утро Сагдаю не хотелось гнать табун на зимнее островное пастбище. Всю ночь у него болело сердце. Чтоб успокоиться, он поворачивался на левый бок, сдавливал грудь рукой. Гнал Сагдай от себя навязчивые ночные думы. А они все о том же — о жизни. Попал в должники к Хапыну. За утеранный косяк приходится отрабатывать не только самому, но и жене Домне, и сыну Сабису, и дочери Кнай. Правда, Петр Иванович Жарков обнадежил — сказал, что он, Сагдай, ни в чем не виноват. Но чтобы совесть была чистой, чтобы люди из сеока Хапына не толковали о нем вкривь и вкось, Сагдай должен найти коней. Так он сам решил. И как только настанет тепло, он отправится в Хаза-тайгу.

О Хаза-тайге его расспрашивал и Петр Иванович, они даже вместе съездили к тому месту, где впервые обнаружился след пропавшего косяка. Но Жаркова — Сагдай теперь это твердо знает — занимают вовсе не угнанные кони. Жарков ищет след худых людей, которые скрываются в Хаза-тайге. И еще он считает, что аал Сагдая и Хаза-тайга как-то связаны между собой.

У Жаркова свои мысли, у Сагдая — свои. Если уж начистоту, то надо хорошенько допросить Хапына, Тойона и Пичона. Что-то они крутят. Где Серге — двоюродный брат председателя? Что за айна приходил в аал? Может быть, готовится еще одна кража? А с чего взялись сначала эдабривать Сабиса — Солового ему подарили? Теперь косятся на всю семью Ардиковых.

Недавно Сагдай встречался с людьми из аала Чорбит, они говорили, что видели коней из пропавшего косяка — под неизвестными всадниками... Поговорить надо обо всем этом с Петром Ивановичем. Жалко, что он внезапно уехал в Минсуг.

Еще табунщик думал о том, что Домне тяжело управляться с отарой овец. Все чаще она недомогает, и ее работу приходится делать дочери Кнай. А Кнай уже невеста. Неужели вся ее молодость пройдет в степи, на пастбище?

Сабиса надо учить грамоте — так говорит жена Большого Федора. Да и сам Сагдай не раз видел, еще когда Полынцевы жили у них в избушке: читает Варвара книжку своей Зойке, а Сабис тоже слушает, хотя не подает виду. Половину Хапынова дома отделили под школу. Из Минсуга пришло такое распоряжение. Приглашала Варвара в школу и Сабиса, но ему стыдно. Большой уже, настоящий табунщик...

А Хоортая не узнать. Вроде помолодел. Дома не живет целыми днями. Все с народом. Сейчас с Полынцевым и Эпсе записывают батраков в отряд самообороны. Полынцев ходит вооруженный, людей учит стрелять. Аал охраняют. Видно, ему и Жаркову что-то известно, что-то готовится. Откуда идет опасность? Неужели из Хаза-тайги?..

Уснул Сагдай перед рассветом, и снились ему кони. Это только наяву конь — друг, а привидится во сне — враг. Много коней — много врагов. Это старое поверье. Кони окружали Сагдая со всех сторон, тянули к нему морды, скалили зубы, пронзительно ржали. И не вырваться было ему из табуна.

Проснулся он от прикосновения Домны.

— Ио, Сагдай! Ты метался и кричал во сне.

В окошко лился свет нового дня. Сабис и Кнай сидели за столом, ели пресные лепешки, макая их в пахтанье.

Когда отец стал стягивать мокрую от пота рубашку, Сабис увидел смуглую широкую спину отца с крепкими лопатками, с выступающими полуджьями ребер. Но сколько вмятин было на ней,

сколько белело шрамов! На правой руке глубокие рубцы — следы волчьих зубов. Когда еще Сагдай был молодым, схватился с матерой волчицей, напавшей на жеребенка. Она оставила свою жертву и прыгнула на табунщика; ему нечем было обороняться, и он сунул зверю в пасть правую руку. Волчица зажала ее зубами. Левой рукой Сагдай душил волчицу, а правой пытался вырвать у нее язык. Схватка шла один на один, грудь на грудь, и неизвестно, чей бы остался верх, если бы не подоспели собаки. Чахырах, которого, как выяснилось потом, застрелил Тойон, перекусил горло волчице. Но отметина на руке Сагдая осталась на всю жизнь.

Да ведь и сам Сабис не так давно лечил ногу, покалеченную при падении, и голову, которую чуть не разбил... Ему стало жалко и отца, и себя, и мать, и Кнай. Редкие праздники выпадают их семье, все работа, работа. Вот Кнай заблудилась недавно в буран с овцами. Отара помяла осенью мать. Почему они все такие беззащитные? Улуг Педор и дед Хоортай говорят, что наступило новое время. Но ведь работа осталась старая. А есть ли на свете для хакасских чабанов и табунщиков другая работа? Этого Сабис не знает...

— Паба¹, — обращается вдруг к отцу Сабис, до этого дня никогда не начинавший первым разговора со старшими. — Ты побудь сегодня дома, я тебя заменю на пастбище...

Обветренные губы Сагдая растягиваются в улыбке. Он понял, что хотел сказать сын. Жалеет Сабис отца...

Сагдай уже надел поданную Домной чистую нижнюю рубаху. Сверху натянул повседневную хакасскую, сборчатую, со множеством пуговиц. С

П а б а — папа.

пуговицами этими он не ладит. Не слушаются маленькие кругляшки его толстых грубых пальцев, и он всегда ворчит на Домну, зачем она пришивает ему к рубашке столько пуговиц.

— Все так носят, — отвечает Домна, разводя руками.

Кнай, тряхнув косичками, концы которых шелкнули по столу, будто бичи, встает и подходит к отцу. Ее гибкие руки тянутся к его воротнику. Пальцы дочери, на которые Сагдай смотрит против солнца, просвечивают розовым. Прикосновения их быстры, легки.

— Прай!¹

Выйдя из-за стола, он заторопился, захлопотал. Надел поверх матерчатых штанов овчинные, запахнул и подпоясал шубу.

— Погоню коней на остров. Ты, Сабис, пока оставайся дома. Сменишь меня в полдень. А сейчас лучше помоги матери и Кнай — привези сено овцам.

Сагдай надел мохнатые собачьи рукавицы-верхонки, потоптался возле порога, вспоминая, что бы еще наказать семье.

Так и не вспомнил...

Серге со своими людьми ехал в степь, где пасутся косяки Хапына. Им нужно было прихватить с собой два-три коня — пригодятся в пути через Саяны и Танну-Туву, в Монголию. Заодно хотелось выведать у Сагдая, что тот знает о Хаза-тайге. В ушах звенят слова Сагдая, которые тот выкрикнул на сходе: «Косяк угнали в Хаза-тайгу. Найду». Сам Серге этих слов не слышал, ему передал их Тойон.

А если, пока он выполняет поручение Пичона, Сагдай приведет в Хаза-тайгу красный отряд? До

Все готово!

времени завяжется бой, рухнут планы. Серге ударил жеребца камчой, припал к гриве. Всадники едва успевали за ним. Навстречу дул ветер, чем дальше в степь, тем сильнее.

«В такой день Сагдай непременно сам возле косяков», — размышлял Серге.

Круто повернул к островам. Спустились цепочкой к замерзшему Чобату. Крались вдоль островов.

Вдруг Серге резко осадил жеребца.

Он увидел табун на заснеженном острове. Кони разбредались, снова сбегались, ветер сдувал на одну сторону их хвосты и гривы. Разгребая копытами снег, кони срывали зубами жесткие пучки травы. Ямки, вытоптанные и выгрызенные, тотчас же заметала поземка. Двухлетки, трехлетки сбивались в кучки, прятались от ветра друг за дружкой, но, слышав окрик табунщика, вновь принимались тебеневать. Серге узнал Сагдая.

— Вам дальше нельзя, он вас не знает. Не надо, чтоб он догадался, кто мы такие. Стойте тут, в кустах. Табун идет в эту сторону. Пока я заговариваю зубы Сагдаю, вы ловите коней. В тальнике он не увидит...

В это время Каурый заржал. Десятки табунных коней ответили на это ржание. Серге ударил жеребца камчой и, не таясь больше, выехал на открытое место.

— Эй, оол! — окликнул он табунщика.

Сагдай оглянулся и натянул поводья.

«Серге? Здесь, на пастбище? Зимой? — удивился он и выругался про себя: — Айна! Ведь он не один. Там еще два коня ржало. Я слышал...»

Смутно ощущая опасность, Сагдай двинулся навстречу Серге. Больше ему ничего не оставалось делать. Но он направлял Рыжку так, чтобы меж-

ду ними и жеребцом, на котором ехал Серге, были лошади.

И все-таки они сближались. Один широко улыбался, кричал: «Изен!» Второй хмуро выжидал, что будет дальше. Их разделяло всего около десятка шагов, потом это расстояние еще сократилось. Ближе Серге никак не смог подобраться. Жеребец под ним, оказавшись среди табуна, заволновался, стал выплясывать, выгибать шею дугой и боком-боком норовил оказаться поближе к кобылицам и злился на своего седока: зачем гонит в табун, а воли не дает?

Серге пришлось одновременно и смирять жеребца и удерживать другой рукой приготовленный на всякий случай под длинной полой дохи обрез.

— Зачем к кобылам едешь? Жеребец тебя изувечит! — крикнул Сагдай, а сам и не подумал отъехать от кобылиц. Правая рука его опустилась к свитому кольцами волосяному аркану, висевшему на луке седла. Серге покосился на аркан.

А у Сагдая был другой расчет. Кобылицы между спокойным табунным Рыжкой и распаленным жеребцом Серге. Не подпустить Серге к себе — это самое главное. Тому волей-неволей пришлось оставаться на месте и унимать Каурова.

— Нашел косяк? — крикнул Серге.

— Пока нет, — ответил Сагдай. — Но знаю. Угнали в Хаза-тайгу.

— А где Хаза-тайга? — вроде бы удивленно спросил тот. — Значит, дорогу знаешь? Кто еще знает?

Тут жеребец взвился на дыбы, и Серге едва удержался в седле. Расстегнутая пола дохи от резкого рывка отвернулась, и Сагдай увидел обрез, придерживаемый Серге под мышкой.

— Э-э, Серге. Твой жеребец взбесился... вовсе

дурной! — кричал Сагдай. — Держись!.. А кто это еще там с тобой?

— Где, Сагдай?

— За кустами... Там...

«Зоркий ты... на свою беду, — подумал Серге. — Будь что будет, а с тобой сейчас поговорит обрез...» И вдруг, оттянув пуговицу предохранителя, направил обрез на Сагдая.

Но прежде чем затыльник приклада коснулся плеча, а палец потянул за спусковой крючок, Серге увидел летящую к нему черную молнию. Она свистнула возле ушей, и Серге почувствовал, что голова у него будто отрывается, а глаза с натуги вылезают из орбит. Он выронил обрез и схватился обеими руками за натянувшийся конец этой молнии. Однако было поздно. Аркан Сагдая вырвал Серге из седла.

Снег окрашен розоватым, а от зарода тень. Возницы остановили Пегашку под самым зародом.

К сену не подступись — с боков у зарода снежные суметы, сверху тоже будто кто положил белую шапку. Эпсе снял полушубок. Оставшись в одном ватнике, парень взял с саней длинный бастрик и принялся им околачивать стенки зарода. Когда облако снега осело, Эпсе приставил бастрик к зароду, сказал Сабису: «Держи» и полез наверх.

— Поддай мне вилы!

Сабис протягивает ему деревянные трехрожки, а сам становится на сани, вооружась железными вилами, полегче.

Эпсе распочинает зарод. Хлоп! На сани упала первая охапка сена. Оно духовитое, щекочет ноздри запахами прошлого лета. Тут и мятлик, и ви-зиль, и пырей — островные, луговые травы. Срезали их косами в самом наливе. Высушили, сгреб-

и, сложили в зарод. И стало лето зимовать... Всякая скотина зимой в нем нуждается.

Перед мордой коня плюхается сверху навильчик сена, и Пегашка, зажмурив глаза, зарывает з него ноздри с настывшими сосульками. Сперва эн хрупают сено без разбора, но, сжевав несколько пучков, начинает рыться в охалке, выискивая и зынюхивая особо лакомые стебельки и листочки.

Брать сено из зарсѣда нелегко, пласты его плотно притоптаны, слежались. Эпсе вонзает в зарод :верху зубья вил, потом «ломает» вилы через колено.

Наконец Эпсе соскальзывает по стенке зарода зниз, в снег. Вместе они прижимают сено сверху астриком. Оба устроились наверху.

Дорога ровная, хотя и виляет. Подкормившийся Пегашка бежит бодро. Скрипит снег под копытами, воздух наполнен звоном.

С острова, где брали сено, спустились в русло Чобата. Воз раскачивается, и вместе с ним раскачиваются там, на бастрике, Эпсе и Сабис.

— Ты жил в городе, Эпсе, — говорит Сабис. — Ты знаешь... Это правда, что есть машины, на которых люди летают? Ты видел их?

— Слышать слышал, но не видел. Но это правда, Сабис.

— На что они похожи, эти машины? Наверно, на беркутов?

— Я видел на картинке, — вспоминает Эпсе. — Крылья у них есть.

— А где там человек сидит?

— Внутри, посередине.

— И куда'захочет, туда полетит?

— Конечно. Ведь он управляет крыльями сам.

— Вот бы прилетел к нам в аал. Мы бы поглядели...



Сабис запрокидывает голову к небу, словно надеясь увидеть там удивительного летуна.

— Эпсе...

— Что, Сабис?

— Когда я подал вилы тебе на зарод, ты снял рукавицы... Я знаю почему. Бережешь. Тебе их вышила Кнай...

Эпсе смущенно смотрит на свои рукавицы: по черному полю пущены гарусные листики и цветы.

— Кнай хорошая, — заключает Сабис. — И Марик тоже.

Эпсе смеется и валит сидящего с вожжами Сабиса пластом. Оба барахтаются на возу. От избытка молодости, счастья и от - того, что одна тайна соприкоснулась с другой.

Река огибала левобережный бугор. Вдруг Эпсе и Сабис услышали крики и топот. Пегаш остановился.

Поднимая выюгу, сотрясая мерзлую землю ударами копыт, прогибая островную луговину, к Чобату мчался табун. Реяли на ветру хвосты и гривы коней: сивые, буланные, каурые, гнедые, вороные. Кони летели с храпом.

Вспухла кромка снега перед прибрежными кустами — в нее ударили сотни копыт. Вот раздался треск самих кустов, куда вломились лошади. И тут в клубящейся за табуном снежной пыли дымно мелькнул всадник. Крупный рыжий конь его настигал табунных лошадей. Крик всадника рвался на ветру: «А-а-а! И-и-и!..»

— Ада¹, — вскрикнул Сабис, подавшись на возу вперед.

Бешеная скачка, погоня за табуном, пронзительные крики его, подстегивавшие, а не сдерживавшие коней — все это было необъяснимо. А в

¹ Ада — отец.

следующий миг Сабис и Эпсе увидели уж и вовсе неожиданное. Из кустов, там, где они росли всего гуще, выскочили на реку двое неизвестных на мухортых конях. Лица их были искажены страхом. Пригнувшись к лукам седел, всадники работали плетками, спеша удрать от несущегося вслед топота, ржания, криков. Об их спины колотились обрезы. Оба проскочили мимо, даже не обернувшись к возу, и исчезли.

Часть табунных коней вынеслась на реку и побежала на аальский берег, обтекая воз с сеном. Другая часть, врезавшаяся в кусты, шумно сокрушала их, стремясь продрасть на лед.

Сагдай подскакал к возу. Вид его был страшен. Шапка слетела с него во время скачки, и волосы, в которые набился снег, косматились во все стороны. Щеки и нос белели — обморозился на ветру.

— Собака... Бандит... Меня хотел убить... Язвалар!..

Шея Серге была туго перетянута петлей аркана, язык вылез, черный рот забит снегом. На безжизненном синем лице щетинились маленькие усики. Доха исполосована, будто ее рвали волки.

— Мертвяк, — сказал Эпсе. — Кто это?

— Ачын хардындас Пичон¹, — ответил Сагдай.

— Ага-а! — удивился и о чем-то догадался Эпсе. — Попался в наши руки... А те двое были с ним?

— Чох! — замотал головой Сагдай. — Серге один был. Знаю ли дорогу в Хаза-тайгу, спрашивал... А вы видели тех? Знал я — Серге не один. Слышал — кони их ржали. Потому и волочил Серге, пугал табун, гнал в те кусты, откуда он на меня выехал...

Дьююродный брат Пичона.

Сагдай слез с Рыжки.

— Его в аал надо, — сказал он, пнув маймахом труп Серге. И только теперь увидел Сабиса: — И ты здесь, сын?.. Береги себя.

Обыскав Серге, Эпсе вытащил у него из ту-
журки наган и кожаный кошелек, в котором ока-
залось несколько золотых царских пятирублевок.

— Ты говоришь, в тебя он целил из мылты-
ха? — спросил Сагдай.

— Мылтых остался там. — Табунщик показал
на остров, вытоптанный конями.

— Понятно... Искать не будем, не до того. Зна-
чит так. Надо спешить к Федору Павловичу.

— А табун? — спросил Сабис, хорошо запо-
мнивший, что произошло летом.

— Он скачет к аалу...

Работа в кузнице не клеилась сегодня у Федо-
ра — остался без помощника. Хоортая, наверно,
закрутили какие-то дела, и он не пришел, как бы-
ло с ним уговорено с вечера, ковать боронные
зубья. Все-таки Полынцев развел огонь в горне,
бросил на угли два железных штыря. Взялся за
мехи. Запахло привычным угарцем, окалиной.

Все будто как надо, — и все не так. Недодер-
жал в огне один штырь и пережег другой. Сплю-
нул в сердцах и поддал ногой стоявшее недалеко
от наковальни точило, за рукоятку которого заце-
пился фартуком. Громоздкое точило опрокинулось,
загреломо.

Тут на пороге кузни неожиданно выросла Ва-
ря. Она запыхалась, щеки от ходьбы по морозу
румяные, шаль растрепана, голос дрожит.

— Федя, ты послушай... Пичон заставил всех
колоть скот, везти на сдачу. Имеет он право отби-
рать у батраков то, что им дали? Мы пошли к не-
му с Онис, так он сперва все свалил на распоря-

жение из Минусинска, а потом и разговаривать не стал...

— Погоди, Варь. Дождемся Эпсе. Скоро, поди, подъедет. Вместе помаракуем...

Варя ушла. Но появился Апах, поздоровался с Федором; сегодня он был неулыбчив, заполошье бесенята не плясали у него в глазах.

Апах поднялся, поднял точило; установил его, затем развернул тряпичный сверток. В нем оказалось два ножа.

— Точить нада...

Пришел Пулат, помялся возле порога, теребя ухо. Он тоже принес ножи. Потом в дверях показался и Хоортай-ага. Он протянул Федору полуостертый тесак времен японской войны:

— Шибко хорошо наточи, трук...

Глава 22

Взвалив на верх воза и прикрыв охапкой сена окоченевший на морозе труп Серге, все трое — Сагдай, Эпсе и Сабис — невольно огляделись. Вот истоптанное пастбище, вот река, вот ветлы. Поднятая скачкой табуна снежная пыль уже осела, а на изломанные кусты успели прилететь желтобрюхие синицы; они тенькали там что-то о своем, птичьим.

— Ты, дядя Сагдай, обманул сегодня свою смерть, — с жаром говорит табунщику Эпсе. — А враг твой за чем шел, то и получил.

Вдруг он спохватывается, видя, что Сагдай без шапки.

— Поезжай поищи по пастбищу отцову шапку и бандитский мылтых. Да скорее.

Сабису не надо дважды напоминать, у него одна нога здесь, другая — там.

— Дядя Сагдай... — говорит Эпсе, — может, нам не так уж и надо торопиться в аал...

— Почему?

— Это пока так, догадки... Но ты сам сказал мне: «Серге — брат Пичона». Над этим стоит подумать. А что, если и Пичон?.. Понимаешь?.. Нет, по-моему, надо где-то дожидаться ночи. Полынцева вызвать тайно...

Сагдай полез за трубкой, набил ее табаком, закрутил, обдумывая слова Эпсе.

— Верно сказал, молодой оол. Может, не ушел я от смерти? Поедем к Каню на зимник.

Вернулся Сабис, протянул отцову шапку и волчий малахай Серге. Снял с плеча найденный обрез.

— Возьми, дядя Сагдай, — передал Эпсе табунщику тот самый трофей, дуло которого не так давно целило в Сагдая. — Твой...

Воз повернул оглобли в сторону зимника.

Дымный язык ночи слизнул с неба обглоданную корочку, оставшуюся от ушербного месяца, и теперь ищет, не светится ли еще что-нибудь. Вот коснулся он бельмастых окошек лесной избушки, и они погасли, одно за другим.

Тьма-тьмушая вокруг. "Но сугробы немного отбеливают, и если хорошо приглядеться, можно различить невесомые какие-то очертания и догадаться по ним — вот коровий загон, а вот сани с навьюченным на них сеном.

Собаки с беспокойством носятся вокруг загона.

Скрипнула дверь, вышли люди. Передний закричал на собак: «У-у-уйс!», и они разбежались.

Люди стали снимать что-то с сена.

— Табрах, табрах!¹ — торопил один из них, низенький.

¹ Скорее!

Дверь снова отворилась. Вышел рыжебородый великан. В правой руке он держал фонарь. Свет падал на голенища его больших валенок.

Нетерпеливо спросил по-русски:

— Где он? Показывайте...

— Мынзы¹, — ответили ему, торкнулось что-то брошенное на снег.

— Раздень его. Надо хорошенько обыскать одежду.

Подкладка кожаной куртки под пальцами Эпсе зашуршала. Он тотчас распорол ткань ножом.

— Какая-то бумага... — стал читать вслух. На бланке было написано правильным почерком:

„Господин генерал, барон УнгернI Армия отделенного Хакасского госддарства ждет Вашей помощи. Из Уранхая до нас — рдкой подать. Надеемся на Ваши скорый приход. Большевистская власть в Минсдге держится некрепко. Мы, хакасские националисты, договорились об объединении с казачьим отрядом есадла Оловьева. Готовы ддарить на Минсдг одноеремленно с Вами.

Это письмо везет Вам, господин барон, надежный человек, мой сородич Серге. Верьте емд. Он свяжет Вас с золотопромышленником Петрицким. Ждем Вас в Хаза-тайге после паводков.

Председатель Госддарственной ддмы отделенной Хакасии П. Почкаев”.

— Да, тут не банда, а глубже! — сказал Федор.

Долго молчали, думали.

— Эх, где ты, Петр Иванович Жарков? Зачем уехал из аала? Уж ты бы нашел самолучший способ выкурить зверя...

¹ Вот это.

— Пичон-абый, открой скорее. Пичон-абый! — Голос Тойона за ставней прерывист.

— Ты один? — спрашивает из комнаты Пичон.

— Один, пусть меня поразит Худай... Скорее, Пичон-абый!

В сенях гремит щеколда, приоткрывается наружная дверь. Ровно на ладонь. Дальше не пускает кованая цепь.

— Один я, дядя Пичон... Вы же видите...

— Теперь вижу. Входи. Что там у тебя?

— Серге взят тойманами! — выпаливает Тойон вполголоса, вступая в темные сени.

— Ио! — сдавленно вскрикнул Пичон. — Как?

— Сагдай сташил его с коня арканом. Серге не успел выстрелить...

— Ах! — Пичон схватился за сердце. — Откуда узнал? Сам видел? Когда это случилось? Оплочал Серге... Погубил меня, погубил восстание. Письмо, наверно, нашли, прочитали... Не надо терять времени. Надо уйти в Хаза-тайгу. С малыми силами они туда не сунутся. Быстрее седлай Вороного, он тут, дома, — подтолкнул Пичон племянника на крылечко. — И слушай хорошенько. Знак подашь... Да скажи Марик, что на аал напали белые, она поверит...

Захлопнув дверь на щеколду, он бросился в комнаты. Торопливо надел шубу, шапку, выволок из-под дивана давно приготовленный арчимах.

Услышав возню и грохот, проснулась в своей комнатке Марик. Надернув платье, вышла, щуря глаза.

В большой комнате все было перевернуто. По полу разбросаны вещи. Коптил фитиль лампы, вывернутый до отказа. Пичон, одетый по-дорожному, с арчимахом через плечо, всовывал в бара-

бан нагана патроны. Лицо его было бледно, руки тряслись.

— Одевайся, Марик, — приказал он девушке. — Мы успеем ускакать...

— Куда, дядя Пичон?

— Молчи! И быстрее собирайся.

Марик побледнела, как стенка, к которой она прислонилась.

— Торопись, Марик! — подгонял ее Пичон. За каким-то сараем они остановились.

— Приведи теперь Солового, Тойон, — приказал Пичон. — Ты знаешь, где он стоит...

Тойон растворился во мраке. Ждали молча. Вдруг чуткий слух Марик уловил скрип многих шагов по снегу, сдержанное покашливание. Звуки доносились с той стороны, где стоял дом Большого Федора.

— Дядя Пичон, — зашептала девушка, дрожа в страхе, склоняясь к нему с седла. — Они идут, дядя Пичон...

— Молчи! — прохрипел хозяин.

Рядом с другой лошадью вырос Тойон.

— Привел? О! И под седлом! — похвалил Пичон родича. — Давай поводья...

Он вырвал у Тойона из рук концы уздечки, вскочил на Солового, который выгибал шею колесом, прижимал уши и фыркал, чувствуя в седле чужого.

— Но-но, — дернул за поводья Пичон. — Марик, не отставай. А с тобой, Тойон, мы встретимся в Хаза-тайге... Да, вот что. Если Полынцев пошлет нарочного в Минсуг, перехвати с теми двумя... — Последние слова он произнес вполголоса, так, чтобы их не услышала Марик. — Прощай, Тойон.

И Пичон, слыша за спиной побегу Вороного, погнал иноходца по спуску к Чобату.

— Опоздали... Ускользнул из рук... Зх!.. — Федор со злости и досады грохнул кулаком по столу в комнате Пичона. Остальные — Сагдай, Эпсе, Пулат и Сабис — посмотрели на него со страхом.

— Ума не приложу, откуда он мог дознаться? Сорока ему на хвосте принесла, что ли? — грозно гудел Федор. Он был взбешен.

— А где девушка, которая у него жила? — спросил он.

Сабис кинулся в комнатку Марик и увидел смятую постель.

Глава 23

Аал Чорбит со всех сторон окружен тайгой. Только с северной стороны тайга не густая. Домики и юрты разбросаны по взгорью над речкой Чор.

Речка бежит в Ахбан, а дорога через Чорбиг ведет в Хаза-тайгу. Отсюда до Хаза-тайги верст тридцать, и это трудные версты. Дорога недалеко от аала переходит в тропу, и она то взбирается на гольцы, то спускается в лесистые распадки.

Говорят в Чорбите: поселились в Хаза-тайге злые люди, прогоняют по лесу мимо аала в сторону Кюль-тасхыла награбленные косяки коней. Не раз налетали и на Чорбит, грабили избы и юрты, увозили с собой женщин... Недавно налетели, угнали скот. Плохое соседство с Хаза-тайгой...

Молодой месяц над тайгой висит рожками вниз. Около стожка стабунилось семейство косуль. Ноги у них сухопарые, со звонкими копытцами, шеи и головы резные, рожки точеные. Подкормиться пришли косули. Ходили-ходили вокруг, да и вспрыгнули на самый верх стожка. Замель-

кали копытца, полетел снег в сторону. Добрались-таки до сенца!

Толкутся на стожке, хрупают гравинки — сухарики, трясут рожками, будто приглашают месяц пободаться. Какая-то ночная птица бесшумно села на сухостоину. Козочки ее не боятся, у них — пир горой.

Но вот старый козел хрупнул сеном и замер, прислушиваясь. Насторожилась и вся семейка. Косули услышали скрип снега и топот, хиус донес до них запах людей и коней.

Стожок стоял недалеко от полузанесенной снегопадом дороги, по которой молчаливо ехали верхом двое — мужчина и девушка. Кони добрые, да притомились. Шли они издалека, из степей. Хорошо еще, что снег был мягкий и не подрезал им щиколотки.

Мужчина озирался по сторонам. Ночью в степи привык он видеть далеко, а тут в тайге — только черные стволы да густой лапник. Редко-редко где попадется серебристая, залитая лунным светом полянка, и глаз отдохнет на ней. Но для девушки эти места, видимо, были знакомыми, привычными. Вот она бойко выскочила на своем Вороном вперед, правя на старую сухую лиственницу со сломанной вершиной. С лиственницы испуганно взмыла, шумно захлопав крыльями, отдохавшая птица.

Косуль на стожке уже не было, их как ветром унесло. Но девушка все-таки увидела мелькнувшие белые задки.

— Киик, дядя Пичон! — крикнула она, обернувшись к мужчине, ехавшему на Соловом коне.

Они подъехали к стожку и слезли с седел размять ноги. Соловый и Вороной с жадностью набросились на разгребенное косулями сено. С полянки была видна сливающаяся с темно-белесым

ночным небом конусообразная вершина горы. Месяц, казалось, плыл рядом с этой вершиной. Рассыпавшись, зябко дрожали звезды.

Марик показала на правый склон горы:

— В той стороне наш аал. Теперь отсюда не далеко. Отец сейчас, наверно, дома. Еще не спят, чай пьют с брусникой, с медом...

Пичон сказал хрипло:

— Не забывай, Марик, едем не в гости. Мы — беглецы. А белые могут прийти и сюда...

Девушка вздохнула.

Всю прошлую ночь и весь вчерашний день они гнали коней, приближаясь к верховьям Ахбана, пока не достигли того места, где с большой рекой слился маленький Чор. И все время Марик думала: «А что же с теми, кто остался в аале? Неужели все погибли? И Сабис тоже?..» Она вспоминала, как они ездили с Сабисом копать сладкие корни, двое на одном коне — на этом вот Соловом...

«Может быть, Сабису удалось спастись?» — билась в груди Марик надежда.

Мысли Марик все время возвращались к тому, как началось это поспешное бегство из аала. Она не видела белых. О них сказал хозяин. А хозяин не выходил из дому. Узнал про белых от Тойона. А вдруг Тойон ошибся? Может, это Жарков вернулся с красноармейцами? Как бы она хотела, чтобы это так и было на самом деле!.. Но тогда...

Пичон остановил Вороного, долго вглядывался в безмолвную улочку. Марик торопилась, но он не разрешил ей ехать впереди.

— Пуст, что ли, аал? — проговорил Пичон. — Ни одна труба не дымит. Который дом твоего отца, Марик?

— Вон он, вон! — Марик указала на самую крайнюю избушку с юртой, маленьким сарайчиком и таким же сеновалом.

По опушке незаметно подъехали ближе: никаких признаков жизни. Светает, а собаки не лают. Петухи не поют. Коровы не мычат. Ее родной домик, заваленный снегом, казался мертвым. Пичон слез с коня, она — за ним. Привязав Вороного и Солового поодаль друг от друга к городьбе, вошли в ограду. Все пусто. Дом не заперт, внутри не топлено. Нежилой...

— Где же Кормас, твой отец? — недоумевал Пичон. — Где все остальные?

Девушку душили слезы.

Большая юрта темнеет на краю аала. Над ее крышей показалась струйка дыма. «Значит, не совсем опустел аал, — соображал Пичон. — Кто же там, в юрте?» Заслышав топот, из юрты выглянул кто-то и снова скрылся. Марик удалось заметить — старик, борода седая, козлиная... Да ведь это Табай, когда-то знаменитый охотник, друг ее отца!..

— Агам! Агам! — закричала она.

Дверь юрты снова отворилась, и Табай вышел, взглядываясь слезящимися глазами в приезжих.

— Изен, Табай-ага! — сказала Марик. — Почему в аале пусто?

— Изен, изен... Это ты, Марик? А этого человека что-то не узнаю.

— Пичон-абый это.

— Слышали... Аалсовет кнези аала Собат?

— Я... Мин аалсовет кнези, — поколотил себя по груди Пичон.

Старик пригласил нежданных гостей в юрту.

— Замерзли... Грейтесь, — показал он на очаг. — Какие новости?

— Агам Табай, — обратилась к нему Марик. — Где же отец с матерью?

— Да, да, где Кормас, мой друг? — спросил Пичон.

— В тайгу ушли, — ответил Табай. — Все ушли. Прячутся. Боятся бандитов. Жизни от банды не стало. Хаза-тайга рядом...

— А ты разве не дружишь с Советской властью? — спросил Пичон.

— Стар я... — уклончиво ответил Табай.

— Бандиты-то русские?

— Все хакасы. Хакасов же и грабят. Весь скот дочиста угнали. — Старик вытряс из трубки пепел.

— А как в вашем аале — спокойно?

Пичон, казалось, не расслышал вопроса.

Марик раскрыла было рот, чтобы рассказать Табаю о том, как и от кого они бежали, но Пичон строго взглянул на нее — «Молчи».

— Русские еще не поселились в вашем аале?

— Не было...

— Это пока, — встрепнулся Пичон. — Скоро придут. Хуже, чем бандиты, будут.

— Нет, не обижают русские, — возразил Табай. — Мы на железный завод ходим. Близко от нас. Там товаров много. Чугунки дают, железо на сани и колеса, подковы для лошадей...

Старик чистил трубку, на Пичона не глядел. Тот, помолчав, спросил:

— Так как проехать к Кормасу?

— Кормас в своей охотничьей избушке. Она найдет, — Табай показал трубкой на Марик.

Лесную избушку отца Марик нашла, когда они густым лесом уже к полудню пробрались в верховья Чора. Избушка стояла у речки, заваленная снегом, и тоже казалась мертвой. Обычное охотничье жилье. Таежники расходились отсюда в поисках зверя, потом собирались. Вместо стекол в двух окнах — льдины. Пол земляной. Тут же очаг.

Вместо трубы — дыра прямо вверх. Но все это Пичон разглядел потом.

А пока черная лайка с белым пятном на груди и загнутым хвостом дала знать хозяину о приездах.

Выскочил Кормас, здоровенный мужчина лет сорока пяти, светлобровый, сероглазый, в унтах и рваной полудошке из козьего меха. Настороженно вглядываясь в путников, он часто мигал.

— Паба! — протяжно крикнула Марик. Скинула скорей шаль, разбросала косички. — Паба!

Кормас, проваливаясь в снег, подбежал к дочке, помог ей сойти с седла, прижал к груди. Потом, словно стыдась своего чувства, подошел поздороваться к Пичону, радостно ему подал руку.

Давнее знакомство связывало Кормаса с Пичоном. Когда-то они вместе хаживали бить сохатых в Хаза-тайгу. Пичон расспрашивал о дороге в Урянхай по Ахбану, и Кормас показал ему охотничьи тропы. Пичон не таил, что отец его был крупный скотопромышленник и гнал из Урянхaya в хакасские степи скот — сарлыков и курдючных овец. Гнал кружным Усинским трактом. А Пичон искал более короткого пути в Урянхай — через главный Саянский хребет. Он не говорил, зачем ему этот путь, Кормас не спрашивал. Ученый человек знает, что делает. Кормас сводил его и на Джебаш и на Большой Он, показал зимнюю дорогу до перевала по руслам этих таежных речек. Рассказал, в каких местах стоят зверовые избушки.

Тогда, прощаясь, Пичон просил у него Марик в воспитанницы. Кормас согласился, хотел, чтобы дочка научилась грамоте, русскому языку. И еще была причина отправить Марик к другу Пичону:



у Кормаса вторая жена — мачеха Марик. Девочку она не любила, нередко обижала...

Пичон и с Кормасом хитрил так же, как со старьшТабаем. Но Кормасу он сказал все же, что в далеком аале Чобат поднялась паника. Белые пришли, дескать, но неизвестно, сколько продержатся. Конечно, ему, председателю аалсовета, справа грозила в первую очередь. Но не за себя он опасался, а за Марик. Считал за лучшее привезти ее к отцу. Однако здесь тоже беспокойно...

— Многих увели из Чорбита в Хаза-тайгу, — рассказывал Кормас. — Табая пороли шомполами. Угнали весь скот и некоторых женщин, не успевших спрятаться. И ее мачеху...

По щекам и бороде охотника потекли слезы.

Пичон рассчитывает на верность Кормаса. Нужен ему такой человек: привыкший к тайге, сильный, на медведя с одним ножом хаживал. Если его, Пичона, и Хаза-тайга не защитит — уйдет с Кормасом и Марик за Саянский Камень.

Кормас не знает, как удобнее устроить старого друга, чем угостить. Достал из лабаза, устроенного на дереве, тушу косули, разрубил, положил в казан. Принес мороженого тайменя, приготовил строганину. Сел рядом с Пичоном за стол, напротив усадил дочь. И не поймешь, кому из них он больше рад.

Нет, он, Кормас, не отсиживается здесь, в звероловной избушке, от налетов из Хаза-тайги. Просто он обдумывает, как выручить свою жену — мачеху Марик. А когда подойдет пора — станет действовать. Ружье у него — то, что стоит в углу, на сошках, — испытанное, нож за поясом — острый, лыжи — быстрые. Теперь, вдвоем с другом Пичоном, он что-нибудь скорее придумает...

Солнце показало свой край из-за утесистой горы над Ахбаном. Снег горит розовым пламенем. По нему ползет человек в желтом полушубке, красноармейском шлеме, из которого торчат клочья ваты. Ползет он, опираясь на руки и левое колено. Правая нога волочится. На штанине выше колена — сплошная корка: кровь смерзлась со снегом. Руки — в истертых черных варежках, на которых еще заметен узор, вышитый гарусом.

Все труднее и труднее ползти. Вот человек выбросил вперед одну руку, другую, попытался опереться на них, но руки по локоть утонули в снегу. Дернулись плечи, согнулось и подтянулось здоровое колено. Волоча раненую ногу, как бревно, человек переместился вперед на аршин, уронил голову. Ползти дальше не хватало сил, заходило сердце. Долго он лежал так, пытаясь унять сердцебиение, хватая запекшимися губами снег. Наконец опять оперся на руки, с усилием поднял голову повыше. И тут он увидел, что лежит у подножия курганного камня. Торчащий из снега краснозато-серый, зернистый, с зеленоватыми потеками присохшего лишайника, камень этот смотрел на раненого человеческими глазами.

Когда солнце наполовину вышло из-за скалы, здруг словно бы шевельнулись брови, дернулись губы высеченного на камне широкоскулого раскомого лица. Оно, усмехаясь, глядело на солнечное полукружье и на человека, приползшего к кургану: «А все-таки еще не день, и ты не дополз до аала. Ты останешься здесь и не увидишь больше ни друзей, ни близких, ни солнца. Сил у тебя уже нет. Сейчас тебя оледенит мороз. И я буду сторожить твои останки так же верно, как сторожу хости всех зарытых под этим курганом...»

Но к человеку, доползшему до курганного **камня**, видимо, вернулись силы. Он сделал **рывок** руками, ухватился за шершавый гранит и **попытался** встать. Сначала это долго ему не удавалось, всякий раз он, приподнявшись, соскальзывал вниз. Наконец, найдя для здоровой ступни твердую опору и перебираясь руками вверх по изломам камня, он поднялся во весь рост. Стоял, обнявшись с древним изваянием, ощущая холод, идущий от гранита.

Аал был тут, совсем рядом с Хара-Кургеном. А как до него доползти?

Человек увидел черную шевелящуюся массу, поднимающуюся с той стороны косогора — овечью отару. В середине рассыпанных по зимнему пастбищу овец шла в сборчатой черной шубе, в теплом полушалке, с ярлыгой в руке невысокая чабанка.

В груди звучно и радостно встрепенулось сердце. Человек поднял руку и крикнул:

— Кнай! Кнайях!..

На это ушли его последние силы. Все еще цепляясь другой рукой за камень, он оседал ниже и ниже.

Но девушка услышала крик и рванулась к Хара-Кургену. В это время солнце совсем выкатилось из-за утеса. Изваяние покраснело.

Обнаружив, что Пичон исчез и вместе с ним исчезла Марик, Федор, яростно чертыхаясь и обзывая себя последним растяпой, принялся обыскивать дом. Под кроватью Пичона оказался люк в подполье. Там нашли спрятанные ружья, патроны, гранаты. Когда связки винтовок и цинки с патронами подняли вверх, Федор принялся вооружать пришедших с ним мужчин. Прежде чем взять винтовку, Пулат не один раз потерял себя за ухо,

пострадавшее при давнем неудачном выстреле. Каной зачем-то понюхал дульное отверстие.

— Убежал, хаарган!..' — сплюнул сквозь редкие зубы Сагдай, сжимая обрез, тот самый, из которого Серге хотел его убить.

Догонять Пичона было бесполезно: ищи ветра в поле!

Федор послал Каноя в соседние аалы за подмогой.

Эпсе и Сагдай он отозвал в сторону, долго с ними совещался вполголоса.

— Решено, — сказал он наконец. — Вы двое и поедете в Минусинск. Отдашь, Эпсе, Губенкову пакет. В нем письмо Пичона Унгерну. Скажи в ревкоме — надо быстрее уничтожить бандитское гнездо в Хаза-тайге... В пути — осторожнее!..

— Кто нападет? — возразил Эпсе. — Давай пакет...

Зимой ездят в Минусинск только по Ахбану, который, выйдя на степную равнину, разветвляется на протоки, образует острова, заросшие густым ивняком, тополями. К Ахбану подступают горы, обрываясь отвесными скалами. Ахбан петляет.

Эпсе и Сагдай поехали не рекой, а другой дорогой.

Неподалеку от аала ждала их во главе с Тойоном засада. Она начала погоню.

Первое время Сагдай и Эпсе не обнаруживали за собой преследователей, так как бандиты и не стремились нападать на них вблизи аала. И только далеко за Хара-Кургеном слышали сзади конское ржание и окрик. Уйти от наседавшей погони было не просто.

Эпсе вдруг выхватил из-за пазухи пакет и, поравнявшись с Сагдаем, протянул ему.

— Бери. Скачи в Минсуг. Тебя конь лучше слушается...

Он силой всунул пакет в руку Сагдая. Потом натянул поводья и остановил своего коня. Спешился кавалерийским приемом, перенятым от Жаркова, уложил коня поперек дороги и лег за ним, выставив наган.

В белесом сумраке ночи приближались, росли зыбкие фигуры преследователей. Стараясь унять часто-часто забившееся сердце, Эпсе выстрелил раз, другой, третий. Взвизгнул и встал на дыбы раненый конь под одним из бандитов. Осадили и остальные двое.

«Скачи, Сагдай, скачи», — шептали непослушные губы Эпсе. Стиснув зубы, он вел огонь. Расстрелял все пять зарядов и вложил в барабан новые патроны. Бандиты рассеялись по сторонам, отвечая ему выстрелами. Пулей распороло шлем, второй ранило коня. Эпсе не смог удерживать его, конь вскочил и понесся куда-то во мглу. И тут пуля ударила оставшегося лежать Эпсе в бедро. Бандиты припустили верхом за убежавшим конем. Эпсе не сомневался, что они вернуться, как только обнаружат ошибку, а Сагдай им уже не догнать.

Он пополз по снегу, стараясь найти рытвину, куда бы можно было забиться. И нашел. Тут проходила оросительная канава, борта ее возвышались над степью, и снег образовал на них валы.

Перебравшись через снеговой вал, раненый скатился на дно канавы. Осенью из нее не спустили воду, и она замерзла. А потом, уже зимой, кто-то поднял затвор оросительной перемычки. Из-под льда ушла и последняя оставшаяся вода. Кое-где лед был пробит копытами табунных коней. Ища надежного укрытия, продвигающийся ползком Эпсе рухнул как раз в такое углубление и пополз под ледом.

Он слышал, как там, наверху, совещались вернувшиеся бандиты.

— Вот след тоймана, — указывал один.

— Кан... Кровь! — обрадовался другой. — Он ранен. Далеко не уйдет...

— Может, это кровь лошади, — возразил другой, и Эпсе безошибочно узнал голос — Тойон!

— Проверим, — отозвался тот, который обрадовался крови. Заскрипели шаги. Теперь голоса доносились от пролома во льду.

— Как туда сунешься к нему? Еще выстрелит.

— Подыхать полез.

— Разобьем лед, достанем, — предложил Тойон.

— Канава длинная. Весь не разобьешь, — возразили ему. — Да и неизвестно, в какой он стороне...

Так они препирались довольно долго. Эпсе боялся шевельнуться, чтобы шорохом не обнаружить себя.

— Эй ты, тойман! — донесся до него окрик. — Айна тебя возьми... Нам некогда с тобой в прятки играть. Если еще не сдох, живи. Но знай — мы придем в аал, будем вашей кровью юрты мазать.

В стылый снежный наст ударили копыта, и все смолкло. Но Эпсе долго лежал не шевелясь...

В аал вернулись обозники, проездившие ни много ни мало, неделю. Хоортай подъехал к своей ограде в санях с какой-то поклажей, закрытой дохой Хапына.

Весь закуржавел Хоортай-ага за долгий путь от Минсуга до аала. Кудрявый иней на бороде и ресницах, сосульки на усах. Но зато левый глаз его подмигивал всем встречным.

Все-таки не по-пичоновому вышло.

А еще в Минсуг приехал Сагдай с пакетом для Губенкова. Встретившись с Хоортаем, зять ему все рассказал: и как Пичон убежал от ареста, и как Эпсе остался в степи отстреливаться от бандитов.

Сагдая в Минсуге Жарков задержал. Сказал — дело есть, а какое — говорить никому не велел.

Сильно об Эпсе Сагдай беспокоился — жив ли оол. Хоортай по дороге узнал — жив. Степные новости далеко известны. Встречные рассказали. Одного только не знал старик, что Эпсе тут, в избе зятя.

Каждый день навещали раненого Федор и Варя. Вот и сейчас они оказались возле его постели. В закужавелом тулупе вошел Хоортай. Внучка, Кнай, подскочила к нему:

— Ой, апсах!¹ Ты же замерз. Раздевайся. Садись к столу. Вот чай горячий...

Старик искоса посмотрел на Эпсе, погрозил внучке пальцем. Его засыпали вопросами — о Сагдае, о городе Минсуге. Ответы старика успокоили всех. Потом он, что-то вспомнив, быстро поднялся, показал на дверь и поманил Варю: — Тебе Минсуг послал... Много...

Полынцева поспешила за ним. Вместе с Хоортаем они втащили два ящика. В одном были тетради, карандаши, ручки, потрепанные буквари.

— Прислал сам начальник Минсуга. А тут лекарства, — показал старик на другой ящик.

Хоортай сел за стол, дул на горячий чай. Пил, обжигаясь.

— А скажи, Хоортай Мангирович, как это Хапынова доха попала к тебе в сани? Да ведь Хапын сам вроде уезжал с обозом. Почему он оказался в аале прежде всех?

¹ А п с а х — дедушка.

Хоортай сообщил, что Хапын вернулся с дороги пешком, еще в самом начале поездки. Подводу же свою поручил ему, Хоортаю. Доху дал...

— Удивительно! — покачал головой Федор. — Чего ж это он не поехал?

— Заболел, говорит. Только врал Хапын.

— Врал, — подтвердил Федор. — Не для города этот обоз готовили они с Пичоном. Для Хаза-тайги... Его бандиты в пути собирались отбить. Хапын знал...

— Это я в Минсуге понял. Там Губенков подошел ко мне, сел рядом: «Зачем, говорит, резал последний корова?» — «Найи председатель аалсовета велел», — отвечаю ему. А он: «А остальные тоже резали последний корова?» — «Да, говорю, Тирнук, Пулат, Апах — все последний корова резали...» Тут зашли к начальнику Минсуга Жарков и Сагдай. «Ты же в аале был, табун пас, — говорю Сагдаю. — Как сюда попал?» Он молчит, а Жарков подталкивает его к Губенкову: «Этот аргыс перехватил бандитского... этого самого...» — Хоортай запнулся, забыв слово.

— Связного, — подсказал Эпсе.

— Айна, все равно! — рассердился Хоортай. — Губенков Сагдая за, руку брал, долго тряс, хвалил: «Смелый, говорит, аргыс, верный».

Потом Губенков с Жарковым смотрели ту бумагу, которую ты послал, а мы разговаривали с Сагдаем. И я все узнал.

Сагдая оставили, а мне велели домой ехать, тебе другую бумагу везти. Вот она... Возьми... Только я знаю и так. Зачем читать? Пишет тебе, чтобы собрал со всех соседних аалов охотников. Чтоб были с лыжами и оружием...

В эту полночь сошел на нет месяц большого мороза, декабрь, и начался месяц ветров — январь. Двадцатый год двадцать первым сменился.

Люди далекого аала месяцы еще называют по-народному, но вот года числят уже по-другому, не так, как прежде, когда двенадцатилетний цикл вместе образовывали год Мыши, год Коровы, год Лисицы, год Журавля... Даже Хапыну не нужны теперь дедовские названия. Все равно, будь наступающий год годом Коровы, Лошади или там годом Овцы, — зачем Хапыну умножать стада, косяки и отары, если не сегодня-завтра снова придут отбирать скот? А то, что останется, некому будет передать. Наследник Тойон ушел с Пичоном, поднял оружие на красных, пролил кровь двуязыкого Зпсе, который слушает хакасскую речь и передает ее русскими словами. Вернется ли Тойон? Сумеет ли теперь Пичон отделить Хакассию от Советов?

Тапчи в углу сечкой рубит мясо. Куски его летят на пол, Тапчи их подбирает и кладет снова в корыто.

— Самой приходится, — ворчит Тапчи. — Ату тоже отказалась работать... Ключи от амбара забрали. Овес тащат. Муки целый сусек выгребли... Ой, Хапын, Хапын...

— Помолчи, женщина... — Хапын приподнялся на кошме. — Пусть ушел сын. Пусть отберут скотину, дом. У нас еще кое-что останется. Есть «желтый жеребец»... В той шкатулке... Все годы копил. Много... Дай мне лампу, спущусь, перепрячу надежнее...

Он поднялся с кошмы, шагнул к западне, закрывающей лаз в подполье. Воздух в подполье гнилой, затхлый, пахнет мышами, сверху свешивается паутина.

Хапын нашел в стене камень, нажал на него, и камень повернулся. Хапын просунул руку в отверстие.

Но вдруг на лбу его выступил пот. Лампа заплясала в руке Хапына. Другая рука снова шарит в тайнике и натывается там только на камень стенки. Он содрал кожу на пальцах, обломал ногти, но так и не нашел шкатулки. «Желтый жеребец» ускакал и следов не оставил. Хапын шатается, будто оглушенный обухом по темени.

— Тойонын холы', — бормочет он и зовет Тапчи. — Мында, мында...² Смотри, ты сейчас плакала, Тойона жалела. Кучугес!³ Он обокрал родного отца!..

Белесые крылья новогодней ночи... Кружит на них семизвездье Читигена над степными и таежными аалами, над оледенелыми руками, над заснеженными лесами. Передвинулся хвост семизвездья. Место, над которым он повис, — узел горных хребтов. Заходят хребты один за другой, как скобки. А еще напоминают они собой глубокую глазную орбиту. Только внето глаза в ией — озеро Кюль-тасхыл. Застыло озеро, забросала его горная пурга снегом, словно бельмом затянулся зрачок. Но мерцание Читигена отражается в незамерзающем водовороте со стороны отвесной скалы.

Поодаль от землянок, в глубине лесной опушки, — единственная в Хаза-тайге изба. Она срублена для Серге, но сейчас в ней живет Харбинка. Светится окошко. Из трубы валит дым с искрами. Возле крыльца привязан оседланный конь. Он

¹ Тойонын холы — рука Тойона.

² Мында — сюда.

³ Кучугес — шенок.

тоже нюхает воздух и поводит ушами. Из леса к нему доносится слабое, какое-то тоскливое ржание. Оно будто знакомо. Оседланный конь тоже ржет. Это Соловый, на котором приехал в Хаза-тайгу Пичон от избушки Кормаса. Сказал тому, что поедет по хаза-тайгинской дороге и постарается выведать, что там за банда. Кормас поверил...

В избе перед печкой сидит на корточках Харбинка, колет топором лиственничные кругляки и подкладывает в огонь. Печка стреляет искрами ему в бороду.

Пичон ходит по избе, и от этого колеблется язычок пламени в светильнике, заправленном медвежьим жиром.

Сейчас у него одна дума. Хаза-тайга его прикроет лишь временно. Да, он, Пичон, не уйдет и отсюда, из Хаза-тайги, без боя. Природная крепость почти неприступна. Войско в ней обучено, во главе его — смелый и знающий свое дело русский, колчаковец Самохвалов. Пусть красные попробуют осадить Хаза-тайгу!..

— Держитесь изо всех сил, — говорит Пичон. — На выручку придет Унгерн.

Семизвездный Читинген все еще совершает свой кругооборот в новогоднем ночном небе. Оглобля его показывает через хакасскую степь на Хаза-тайгу, а сам воз повис над Минсугом, над зданием ревкома. Два ряда темных окон в нем, и только в трех свет. В остальных, затянутых морозной пленкой, скупо отражаются звезды.

В приемной председателя ревкома горит тусклая электрическая лампочка. На стуле — милиционер. Форма на милиционере еще совсем новая и сидит топорно. Защитная гимнастерка и брюки галифе — все как полагается. Вот только на ногах не валенки, а маймахи.

Это — Сагдай, вступивший здесь, в Минсуге, в отряд уездной милиции, которым командует Жарков. Долго беседовал Жарков с Сагдаем, после того как тот доставил пакет. Он, Жарков, давно знает Сагдая и считает, что его место — в конной милиции... И вот, в новогоднюю ночь Сагдай — на посту. Он старается думать только о том, как лучше выполнить приказ Жаркова — охраняя кабинет председателя ревкома, быть начеку. Но разве отгонишь мысли о доме, о семье, о конях?

В Минсуг стянуты крупные силы краснорозетных алыпов, на всех улицах — патрули. Настанет день, и отряды из Минсуга пойдут на Хаза-тайгу. А проводником их будет он, Сагдай. Жарков велел ему готовиться...

Ревком охраняет не только Сагдай. Посты расставлены снаружи и у входов на каждый этаж. Губенков может работать спокойно. Засиделся за полночь. Из кабинета доносится его покашливание, приглушенный голос. Звонит ящичек, что стоит на столе председателя. Если после звонка снять с рогульки трубку и приложить к уху, можно слышать чей-нибудь голос. Новые товарищи из отряда милиции объясняли Сагдаю, как голос попадает в ящичек, а потом в трубку, но он не понял — не учен.

И теперь он старается догадаться, с кем говорит за стенкой Губенков. «Может, с самим Лениным? — осеняет Сагдая. — Он рассказывает ему, как трудно устанавливать в аалах советские порядки и отбиваться от банд...»

Наверно, Ленин у себя в Москве сидит около такого же ящичка и щурит один глаз, как на картинке, которая висит в кабинете Губенкова.

Что бы сказал Ленину сам Сагдай? «Мы, аргыс Ленин, сделаем такую жизнь, к которой ты нас зовешь».

И, может быть, услышав это, Ленин так ответит Сагдаю:

«Я верю вам. Желаю вам скорее покончить с бандами в Минсугском уезде. А потом вы и железную дорогу от Ачинска до Минсуга проведете, и Кара-Таг — Черная гора — даст каменный уголь, и всех до одного баев народ прогонит... А еще желаю, чтобы новый год назывался в Хакассии — кизи-чылы — годом Человека...»

— Кизи-чылы, — говорит Сагдай вслух, не замечая, что Губенков открыл дверь и остановился, разглядывая нового постового. — Кизи-чылы!..

— Вы что-то сказали, товарищ? — спрашивает Губенков.

Смущенно моргая, Сагдай глядит на председателя ревкома. У того усталый взгляд, в глазах желтизна, еще выше поднялись залысины на лбу. Но осанка статная, военная, хотя Губенков и носит пиджак. Борты пиджака разошлись, видна косоворотка, перепоясанная ремешком. Заложил за ремешок пальцы, покачивает угловатыми плечами, ждет от Сагдая ответа.

— Мин говорил — «кизи-чылы», — произносит наконец Сагдай. — Наши люди называй каждый год. Есть чылгы-чылы — год Лошади, есть год Овцы, год Журавля. Бывает год Мыши, год Змеи... Этот год мин называй — год Человека... Банды прогнать, баев прогнать. Коммуну в далеком аале сделать — бедный человек хорошо жить станет. Хороший год кизи-чылы...

Глава 26

Варя всей душой старается научить хакасских мальчишек и девчонок русской грамоте, да вот плохо это у нее получается. И нис на помощь призвала, а все равно толку мало.

Повесила на доску картинку из тех, что привез Хоортай вместе с книжками и тетрадками. Рыбка нарисована. Новое русское слово должны узнать сегодня ребятишки. Спросила, что это на картинке? Онис перевела вопрос. Тянут ученики ручонки.

— Скажи ты, Каскар, — кивает Варя узкоплечему заморышу, пришедшему в материной кофте. Блеснув черными глазенками, Каскар выпаливает:

— Алапуга...

— Чох алапуга, — возражает дочка Онис Таанах. — Пазыр...

— Чох алапуга, чох пазыр, — кричат другие ребятишки. — Хамнах...

— Чох хамнах... Хоора!¹

Ребятишки не виноваты. Это рыба так нарисована, что ее можно принять и за окуня, и за карася, и за сорожку, и за хариуса. А Варе надо, чтобы они сказали по-хакаски «рыба». Ее выручает Онис.

— Балык, — говорит она. — «Балык» — рыба.

Слово «рыба» Варя пишет на доске. Белая эта доска, а слово на ней получается черное, потому что **Варя** пишет древесным углем. Мела в школе нет.

— Таанах, скажи, что я тут написала.

Круглолицая девочка, с бровями-полумесяцами, с глазами, как две миндалины, отводит со лба **смоляные** косички.

— Ты написала «ры-па».

— «**Ры-па**», «ры-па», — повторяет хором весь класс.

— Неправильно, дети. Надо «ры-ба»! Прислушайтесь ко мне, где же здесь звук «п»?

¹ Алапуга — окунь, пазыр — карась, хамнах — сорога, хоора — хариус.

Ребятишки остолбенело глядят на Варю, потом опять бормочут: «Ры-па».

— Не получается, — заявляет Варя Онис. — Пусть говорят «рыша».

— Если говорить неправильно, и писать станут неправильно, — настаивает Варя.

— Тогда переделывай их, — смеется Онис.

— Ладно! — машет рукой Варя. — Говорите, как у вас получается, только запоминайте, как написать по-русски.

Замучилась Варя и ребятишек замучила, когда дошли до слов «город», «стена», «ключ», «кошка». Никто из них не произнес так, как она. А большинство ребятишек и написало так, как выговаривало: «корат», «стене», «клюс», «коска».

— Плохо я учу, — пожаловалась Варя, отпустив ребятишек на перемену... — Ничего у меня не получается.

— Они — хакассские дети, — отозвалась подруга. — Откуда знали русеких? Поп еэдил — не учил, купес — не учил, белый казак — не у ил. Ты и Педор — первые из людей орыс аалу все равно что родные. Ты учи их больше. Я тебе помогай... Ты, Варвара, многа сделал. Ребятишки пуквы знай, мало-мало русски говори...

— От моей Зойки больше перенимают, чем от меня, — вздохнула Варя.

— Они вместе играй, — поддакнула Онис.

— Сюда бы настоящую учительницу! Чтoб подход к ним знала и все там учительские премудрости. А мне как самой до этого всего дойти?.. И учить бы их надо не только нашей, но и вашей грамоте...

— Нашей грамоте нет, — отрезала Онис. — Никогда не было.

— Постой, Онис! — встрепенулась Варя. — Как это никогда не было? Ты сама показывала

мне какие-то слова, вырубленные на Хэра-Кургене...

— Тот народ давно умер, грамота с ним ушла...

— А как же сказки, которые целыми ночами рассказывают ваши старики? Разве они нигде не записаны?

— Наши хайджи говорят сказки на память. От деда к внуку, от отца к сыну сказки переходят...

— Но ведь этак можно забыть.

— У народа память крепкая.

— А лучше, когда и память, и грамота!

...В морозный полдень Зойка возвращается из школы домой вместе с матерью. Старается шагать по тропинке, протоптанной в сугробах, такими же **шагами**, как Варя. Легко Зойкиным молоденьким ножкам в овчинных маймахах. Это — обновка. Недавно пришла Домна и протянула девочке обувку. «Бери, подаркам...» Как загорелись тогда **глаза** Зойки! **Маймахи**-то ведь не простые — **вышивкой** украшены. Красные, синие, зеленые извивы хакаского орнамента пущены по голенищам. **Тут** и разноцветные дорожки, и зубчики, и листочки. А сунешь ноги в маймахи — тепло в них, **как** в печке, и мягко.

Мать не знала, как и отблагодарить Домну за **такую** радость. За стол усадила, чаем крутой **заварки** потчевала. После шестого блюдечка щеки **Домны** залоснились. Она вышла из-за стола, **потрепала** Зойку за белокурые прядки и сказала **Варе**, указывая на девочку:

— Твой хороший хызычах, белый козленок... **Маймахи** есть — рукавицы надо... Однако ниток не хватай. Мой бульшуха Кнай нитки вытаскал...

Варя отдала Домне весь свой запас цветных **ниток**, и спустя некоторое время та принесла Зойке еще **и** вышитые рукавички.

Вот поэтому у Зойки радуга на ногах и на руках. Подружка Таанах, как придет к ней, глаз не сводит с вышитых Домной маймахов и рукавичек. Погладит их, вздохнет, а ничего не скажет.

Поспевает Зойка за матерью по снеговой тропинке, маймахами притопывает, рукавичками хлопывает. Пальтишко ей мать сама сшила, распоров свой плюшевый жакет.

Вытянулась Зойка ростом, а ткани ей на пальто нигде не купишь. Перешитый жакет и выручил девочку. Ворсинки заиндевели на морозе. Заиндевила и старенькая серая шаль, которой повязывается Зойка. Будто осыпанная снежком, идет девочка, но она тепло одета, розовеют ее щеки. Кожа холодная, и покалывает ее, словно иголками, да под ней огонь. Зойка напоминает разрисованную куклу-матрешку: тут — узоры, разводы, там — розовые иятна.

— Мам, — звонко щебечет она, приоткрыв рот, полный мелких белых кварцевых окатышей. — Ты мне скажи,пустишь меня кататься на соорах?

— На чем, дочка?

— На соорах... Ну, по-нашему, на санках. Мы будем во-он там, на Ах-тигее... — Она показывает на белый бугор над Чобатом. — Вчера Сабис обещал прикатить большие сани. Мы все уместимся — и Каскар, и Таанах, и Мансар... Все соберутся... Я уже два раза каталась...

— А не страшно с такой горы лететь вниз? Еще перевернутся ваши сооры...

— Не перевернутся. Они широкие.

— А кто их завозить будет обратно?

— Мы сами. И Сабис...

— Ему, поди, не до того, дочка. Сабис — большой. Он — табунщик.

— Так он же сейчас не пасет. Бросил...

— У Сабиса ведь горе. Марик пропала...

— Мне жалко Марик, — вздыхает Зойка. — Она играла со мной. Помнишь, мам, когда весь народ собирался в ограде у Хапына?

— Как же...

— А Сабис, мам'а, выходит теперь к мальчишкам и девчонкам на Ах-тигей. Помогает сани за-таскивать на самый верх. И сам катается-..

— Может, с вами ему и легче...

— Не знаю...

Зойка умолкла. Поскрипывают ее маймахи и Варины пимы. Девочка вскинула на мать глаза:

— Сабис обязательно разыщет Марик! Как алып Алтын-Хус разыскивал свою невесту Хызыл-Тюльгу

— Какой Алтын-Хус, Зоенька? — удивилась мать. — От кого ты это знаешь?

— А дедушка Хоортай рассказывал сказку про Алтын-Хуса, как он всех врагов победил и женился на Хызыл-Тюльгу... Сабис ведь гоже женится на Марик, правда, мам>

— Ох, Зойка, дотошная ты...

— А я знаю — женится. Когда Сабис не слышал той сказки, он все хмурился. А как дедушка Хоортай рассказал про Алтын-Хуса, тут Сабис улыбаться начал, а потом сказал Таанах и мне: «Приходите каждый день на Ах-тигей, будем кататься на соорах...» Ты меняпустишь, мама?

Медленно шагает рядом с дочкой Варя. Скрипит на ней задубевший от холода полушубок.

«В трудное время растут, — думает она. — Жизнь вроде на хорошее поворачивается. Да ведь как бывает! Недаром говорят: солнышко на лето, зима на мороз. Вражин сколько кругом! Вон Сабиса чуть не осиротили, когда напали на Сагдая... Не дай бог, что с нами случится — как тогда Зойка одна останется?..

Вдоволь накаталась Зойка с горы на хакасских санях. Ребятишек в них набивалась куча мала. Сабис садился последним. Он сталкивал сани с макушки горы и правил ими во время быстрого спуска по склону. Всем было весело и чуточку страшно, когда ветер со свистом неся навстречу саням, осыпая ребятишек блестящей на закатном солнце снежной пылью.

Домой Зойка пришла в сумерки. Она удивилась тому, что перед крыльцом стоят чей-то кони, выпряженные и привязанные к саням и кошевкам. Спины коней покрыты попонами. Мать, раскрасневшаяся от печного жара, металась на узком пространстве между плитой и шкафчиком с посудой. тец, занявший собой полкухни, нес к столу вскипевший медный самовар-полуведерник. Самовар парил, и отец, чтобы не ошпариться горячей струей, держал его на вытянутых руках,

На вешалке — гора полушубков и шишелей, за столом сидят гости. Петр Иванович Жарков — волосы ежиком, гимнастерка темно-зеленая, на груди поперек три малиновых полосы, на каждом рукаве по такой же полоске. Петр Иванович всполошился:

— Батюшки светы! Заговорились, а самую главную хозяйку и не заметили. А она — вот она, проскользнула, как мышка... Здравствуй, Зойка, давно тебя не видел. Выросла ты. Вот, держи гостинец... — Шагнув, Петр Иванович протянул девчужке кулек.

Теперь все приезжие устали на Зойку. Ну что в ней такого, — удивляется девочка, — чтобы взрослые люди оставили свой разговор и заинтересовались ее, Зойкиными, делами? Наперебой заговаривают, шутят с ней. Даже очень строгий — носатый человек, одетый, как и отец, в пиджак, улыбнулся ей. Кто он? Почему все, даже сияющий

командирскими нашивками Петр Иванович, внимательно прислушиваются к каждому его слову? Зойка услышала его фамилию — товарищ Губенков. Насторожилась, услышав название «Хаза-тайга». Знает, что там живут бандиты и туда убежали Пичон и Тойон. Пичон, оказывается, самый главный бандит. Недаром она всегда его боялась.

— Из Хаза-тайги, — говорит Губенков, — был послан еще один связной в Монголию. Красный дозор захватил его на нашей границе уже на обратном пути. На допросе признался, что был у Дикого барона...

Зойкины бровки, как два стрижа, взлетели вверх. Про какого барана толкуют за столом? И зачем бандитам посылать связного к дикому барану? Но тут Петр Иванович вставляет: «Барон Унгерн командует недобитыми семеновцами. **Богдыхана** монгольского, свергнутого, на престоле восстановил. Пытался прорваться в наше Забайкалье. А теперь собирается нанести нам удар в направлении Алтая. Через Хакассию, значит... **Чтобы** вновь, с помощью япошек, Сибирь отторгнуть, а там и на Москву пойти. Вон какие аппетиты у генерала-барона...»

— Тятя, — не выдержала Зойка, — а тятя? Почему баран?

За столом грохнул такой смех, что лампа, висающая вверху, замигала. Больше всех смеялся Петр Иванович.

— Баран, — повторял он за Зойкой, приставив руки к вискам. — Вот с такими рогами...

— Не мешайся-ка в разговор взрослых, — одернул Федор дочку. — Вы уж извините, товарищ Губенков.

Зойку отправили спать. За столом начались •оаюминания. Говорили о Петре Ефимовиче Ще-



тинкине, с которым вместе и Губенков, и Жарков, и Полынцев проделали в девятнадцатом тяжелый таежный поход.

— Где-то он сейчас? — проговорил Федор.

— В Монголии. Помогает товарищу Сухэ-Батору гнать японских наймитов. Да и с этим бароном еще будет возни у Петра Ефимовича, — повернулся Губенков к Федору. — С Унгерна рога не просто сшибить. Ученый барон, родовитый. А обличем, говорят, похож на бывшего царя Николашку Второго. И сам не в цари ли метит? Но хоть и трудно, а справиться надо и с Унгерном. А пока у себя порядок наводить будем. Уполномочен организовать у вас и партийную ячейку. Другое время наступит... Слышали, Полынцев, готовится Десятый съезд РКП(б)? Продразверстку заменят натуральным налогом. Товарищ Ленин хочет поскорее видеть страну богатой и сильной, и чтобы каждый в этом был заинтересован. Постепенно поднимем село, заведем сильную промышленность. Вот тогда и подойдем к социализму. Вот так. Ну, а что у вас? Какие настроения?

...Наутро Федор ушел из дома вместе с Губенковым, Жарковым и милиционерами и не появился в обед. Только в потемках вернулся он. Нетерпеливо насаживал на вилку поджаренную картошку, торопливо жевал. Отрывисто рассказывал Варе:

— Петр Иванович занял под штаб дом Пичона. Милиционеров разослал по аалам вербовать добровольцев в отряд. Не обороняться от бандитов теперь будем, а наступать на них... Ликвидировать Пичона — и точка... Сагдай Жаркову — первый помощник...

Про Губенкова сказал:

— Насчет бедноты и середняков пришел у него далекий. О коммуне толкует. Чтоб вместе, сообща... Говорит, что эти самые артельные хозяйства

в деревнях партия имела в виду еще в октябре семнадцатого года. Оно как раз в лад приходится с моими думками...

Глава 27

В подполье под домом Аларчона серый мрак. Совсем немного света проникает туда сквозь узкие щели. По углам слышны шорохи, писк — то возятся мыши. От дальней стены подполья доносится тягучий ритмичный звук — храпит спящий человек.

Вверху приоткрылась и стукнула западня. В подполье стало светлее. Разбежались и попрятались мыши.

Из западни показались сначала ноги, потом туловище, наконец, плечи и голова — сам хозяин дома сходил по лестнице. В руках он держал глубокую глиняную миску, над которой клубился белый парок.

Человек, лежавший у дальней стены подполья на кошмах, наваленных одна на другую, сел, зевнул, почесал грудь.

— Это ты, Аларчон-абый? — спросил он на всякий случай.

— Я, Тойон. Еду тебе принес. А ты чутко спишь...

Аларчон присел было рядом с ним, но, почувствовав под собой что-то жесткое, тотчас вскочил.

— Это обрез. — Тойон отодвинул оружие. — Пока сидел тут, отпилил ствол у винтовки. Теперь можно под полкой носить... Кладу с собой. Какие еще там новости в аале?

— Ой, плохие, палам. Тебе надо скорее убираться отсюда. Аал полон красных. Три флага повесили. Под одним флагом, в аалсовете, сидит те-

перь хромой Эпсе, он теперь вместо Пичона, люди на сходе за него руки поднимали. Другой флаг поставлен на доме твоего отца, — значит, и на твоём доме. Там коммуна у них. Распоряжаются Хоортай и этот русский. У Хапын-абыя отобрали всех коней, овец и коров. Выходит, ты теперь лишен всего отцовского наследства...

Тойон оттолкнул от себя миску.

— Шайтан!.. Скот зарезали?

— Чох, — помотал головой Аларчон. — Кормят. Пастухов приставили. — А знаешь, Тойон, твой отец им почти не сопротивлялся. Он тол*ько сказал: «Перевезите меня в избушку Каноя. Там доживу век...»

— Отец стар и выжил из ума. А что мать?

— Она хотела сжечь дом. Ее связали и вывезли на зимник Каноя вместе с Хапыном-абыем...

— А ты был там и не вступился за мою мать?

— Как бы я мог сделать это, палам? Люди бы и меня связали и тебя нашли. Ведь я не рассказал тебе еще про третий флаг...

— Ну, рассказывай...

— Третий флаг поднят над домом Пичона-абыя. Там сидит комысар Жарков. Каждый день к нему приходят из других аалов молодые парни и пожилые мужики на лыжах, приезжают на конях. Жарков дал им винтовки. Дом Пичона-абыя теперь называется «штаб»..,

— Много их собралось?

— Шибко много. Начальники расселяют их по домам. Боюсь, что и ко мне приведут. Этой ночью тебе надо уйти...

В г рле Тойона заклокотало. Не то смех, не то плач услышал Аларчон.

— Хара-айна, — выругался Тойон, овладевая собой. — Это все случилось из-за того проклятого русского. Зачем не было у меня с собой мылтыха,

чтобы убить его в степи еще во время той, первой встречи!..

Вдруг он повернулся к Аларчону:

— Ты говоришь, я должен уйти? Но ведь ты — кам. Так помоги мне отомстить... Пущенная мной пуля не пролетит мимо...

— Не делай глупостей, — уговаривал его Аларчон. — Ты лучше подумай о главном: для чего комысар вооружает этих пришлых? Их уже сотни четыре... Помнишь, твой отец устраивал большую охоту на волков. Так же собирали народ... Вот и эти готовятся идти на облаву. Думаю, что крупного зверя хотят взять... Сагдай все время с комысаром. А ведь он, ты помнишь, хвалился, что знает дорогу на Хаза-тайгу... Не теряй времени, палам, поспеши к Пичону-абыю. Ты успеешь их опередить, все рассказать... Отомстишь потом. Я выведу тебя из аала, дам коня. Хорошо, что обрезал мылтых...

Январь Домна провела в больших хлопотах. Еще совсем недавно была ыа ее руках байская отара, а теперь, когда по решению аалсовета скот Хапына передан в руки народа, стала Домна как бы сама хозяйкой отары. Но она не загордилась и по-прежнему называла себя «чабан».

С виду все оставалось по-прежнему: чабанки гоняли овец на тебеневку, по вечерам на тырлах — площадки для кормежки, давали им немного сена. Караулили в ночные часы по очереди... Но именно Домна, первая в аале Собат, очень скоро обнаружила разницу между байскими и артельными овцами. Произошло это так.

Пришла чабанка в бывший дом Хапына, где на прежней хозяйской половине разместилась контора коммуны. Встала у печки, приложив к кирпич-

ной стенке озябшие руки. Пока отогревала их, слушала разговор большого человека из уезда — Губенкова с секретарем ячейки Улуг Педором.

— Меня интересует ваша коммуна, — говорит Губенков. — Потому и живу здесь. Создавали вы ее на моих глазах, и это — дорого. Да еще убедиться лишний раз хочу, понятны ли степному народу задачи, которые ставим перед ним мы, коммунисты. Тут еще помнят своих феодалов. Секи эти во главе с баями, темнота, забитость... А мы хотим, чтобы и хакасы вместе с нами шагнули в социализм. А откуда им шагать-то? Да прямо из феодализма — вот ведь какая загвоздка! Наша помощь тут прежде всего нужна. Но помощь — помощью, а сам народ? Ты как думаешь, Полынцев? Живешь среди них. — Губенков сдержанно улыбнулся. — Улуг Педором стал.

— Силы, пожалуй, есть. Как не быть силам! — отозвался Федор, сшивая за столом бумаги. Ручищи его, привыкшие к кузнечному молоту, действовали неловко. — Вот я тебе скажу, а ты послушай, Егор Кузьмич. Нашли мы в степи, когда в первый раз сюда попали, паренька одного, Сабиса, вон его сына. В чем только душа держалась, а ведь выдюжил. Опять табунщиком стал, да еще каким лихим! Только Сабиса конь тащил, а весь ихний народ под копытами проклятушей байщины жил. И дюжий оказался. Не все соки выпили из него бай. А новая жизнь даст новый сок...

— То верно, Федор Павлович. Но ведь ее, новую жизнь, еще строить да строить. Трудиться народ может. А где образование, где культура, где?

Меряя контору крупными шагами, Губенков вдруг резко столкнулся с выходившим из другой комнаты Хоортаем. Из рук старика посыпались какие-то деревянные планки.

— Простите, Хоортай Мангирович, я нечаянно... — Губенков, нагнувшись, собирал упавшие планки. — Что это у вас такое? Для чего?

— Рубики. — Левый глаз старика лукаво прищурился. — Работа надо считать... Этот рубик — работа Апаха, этот — Пулат, этот — Каной... Все, что коммуна делай, — рубик говори...

— Значит, зарубки на них будете ставить?

— Вот-вот, — закивал своей черно-серебристой бородой Хоортай. — Черточкам, палочкам, крестикам...

— Но ведь бай тоже так отмечал?

— Байский рубик неправда говори. Наш совсем другой...

— А если забудете, что отмечено? Все-таки учет лучше вести на бумаге... Может, на первых порах хорошо и рубики, но придется вам заводить счетовода.

— А ты учи нам счетовод... Бери Онис в Минсуг. Она грамоту понимай...

— Хоортай Мангирович не только о рубиках, но и об Уставе коммуны позаботился, — вставил слово Полынцев. — Правда, мы его еще не записали.

— Вот как! Это ваша обязанность с Хоортаем Мангировичем. Вам члены-учредители доверили руководить. — Губенков говорил улыбаясь и все время поглядывал на Домну.

А ей казалось, что начальник Минсуга, который говорит непонятные слова, хочет на чем-то пвдловить и Полынцев&a и Хоортаю. Рубики ему не понравились, это она поняла. Домна и сама всю жизнь не доверяла рубикам — тем, что находились в руках Хапына. А свой учет вела честно. Теперь рубики всей артели в руках ее отца — Хоортаю. Он за всю жизнь соломинки чужой не взял. Может, в этом начальник сомневается?

Ступив вперед, Домна осмелилась заговорить:
— Зачем рубрики худо глядишь? Отдавай их другой человек, хочешь — сам бери. Наше дело совсем другой. Овечка нет, рубрик нет, кушай нет, — какой артель?..

Домна израсходовала свой запас слов, а столько ей захотелось высказать! Она переводила взгляд то на отца, то на Полынцева.

— Погоди, Домна, — Федор поднялся, пошел к двери. — Сейчас позову Онис, она, должно, в школе, у Вари...

Онис пришла к Домне на выручку. И теперь, слушая женщин, Губенков очень заинтересовался тем, что говорила чабанка. Оказывается, Домна не согласна с тем, что овцы в артели содержатся, как при бае. Тому было все равно, есть ли над ними крыша, нет ли, — был бы приплод. А вот ей, Домне, не все равно. Попробуй-ка попринимай новорожденных ягнят зимой! А в отаре нынче есть такие матки, что вот-вот обьягнутся. Чтобы сохранить ягнят, для маток надо построить катон. Сделать его не хитро, нужны прутья и солома. Раньше зимних ягнят мало выживало, а нынче Домна хочет их всех сохранить. Давайте делать катон. Будет приплод — будут и отметки на рубиках. А так — что спорить, хороши рубрики или плохи?

И еще говорила Домна о том, что никто не должен от работы уваливать. Когда ее сын Сабис бросил пасти байских коней, слова ему не сказала. Но теперь табун артельный, и она заставила сына вернуться к коням. Муж, Сагдай, вот тоже... Ему артель весь табун доверяет, а он надел милицейскую одежду и сидит-посиживает в этом «штапе»... Уж скорее бы кончили с бандой, чтобы Сагдай своим делом занимался, пользу артели приносил...

А еще Домне жалко отдавать баранчиков на мясо. Знает, что надо отряд кормить, а все-таки жалко. И коней приходится резать Скота ведь пока не прибыло...

Широко расставленные карие глаза Домны вопрошающе уставились на Губенкова. Егор Кузьмич, несколько потупясь, выдержал с минуту и вдруг распустил все свои суровинки.

— Вот утешила, так утешила, товарищ Домна! Настоящий разговор хозяйки! Ты это правильно... Давайте-ка сегодня займемся катонами... Я договорюсь с Жарковым, чтобы людей из отряда подослал, — к вечеру матки уже в тепле будут.

...Первой из девочек эту новость услышала Таанах, а ей сообщила мать, побывавшая в новом овечьем катоне.

— Ягнята появились...

Таанах тотчас же засобиралась к своей подружке Зойке. Сунула ноги в маймахи, надернула шубенку, набросила полушалок на черные косички — и поминай как звали. К Полынцевым прибежала запыхавшаяся, румяная.

— Это ты, Танюшка? — обрадовалась Зойка, называя подружку на русский манер. — Ты знаешь, что я делала? Узоры со стекла срисовывала. Ишь, как мороз их навел! Хочешь, давай вместе...

Но что для Таанах какие-то морозные узоры! Совсем не за этим она пришла, у нее есть кое-что поважнее.

— Ягнята! — выпаливает Таанах, не в силах больше таить свой секрет. — Ягнята родились!

— Ягнята! — радуется Зойка. — Какие они? Черненькие?

Зойка приставила к русской печке табуретку, вскочила на нее, достала свои расшитые маймахи. Белые прядки подобрала под шаленку, концы перехлестнула на груди и сунула под мышки. Таанах

подскочила на помощь — затянула сзади концы шаленки узлом.

Подружки сунулись было к двери, да мать сказала: «Погодите». Она пирожки жарила с картошкой — отец недавно немного муки выменял в за-речном аале на конские подковы.

— Нате, вот вам на дорожку, — сунула она им по пирожку. Знает, что нет для Зойки и Таамах ничего слаще, как грызть что-нибудь на морозе.

Отец, сидевший на лавке, Наклонился вперед. Дрогнула его борода, шевельнулись кустистые брови.

— Матрешки, чисто матрешки.

Визжит и хлопает дверь.

Таамах торопит Зойку, и вот они обе, соскочив с крылечка, пустились вприпрыжку через бело-розовый пустырь.

Возле низенькой избы Тирнука, на плоской крыше которой снег лежал аршина в два толщи-ной, обе запыхались, перешли на шаг. Тут же по-смеялись и поспорили.

Смешно было оттого, что на крыше снег с бо-ков совсем завалил трубу, и казалось, дым идет прямо из этого сугроба. Потом Зойка сказала, что это не снег, а такой крупчаточный пряник туда положен. Таамах помотала головой — не пряник, а кусок брынзы. Если Зойка не верит, может лиз-нуть — на языке будет солоно. Но до крыши вы-соко — как до нее дотянешься?

За обьягнвившимися и суягными матками до-сматривала Кнай. Она засветила керосиновый фо-нарь, потому что в катоне темно. Душно пахнет соломой, овцами. Овец много, воздух в катоне на-гретый и влажный. Кучками лежат на соломенной промокшей подстилке обьягнвившиеся матки. Час-

то-часто вздуваются и опадают их бока. Горбатые пучеглазые морды тянутся к черным комочкам, лежащим рядом. Высовываются длинные шершавые языки и лижут эти комочки. Отзываясь на голоса ягнят, мырчат овцы. Они поворачивают морды на свет фонаря, с которым Кнай расхаживает между кучками, и глядят бесовскими глазами, продолговатые зрачки поставлены поперек.

Топчется на подстилке и подталкивает ягненка носом к вымени большая черная овца, а он верещит, бестолково тычется мордочкой ей в пах и никак не найдет сосок. Кнай спешит на помощь глупышу и подсаживает его под овцу. Ягненок сразу умолк, упал на передние коленки и зачмокал. Сосет, а хвостик его виляет.

Обошла Кнай весь катон, вернулась на середину. Тут колышек вкопан, повесила Кнай на нем фонарь, выдернула из соломенной стенки катона вилы, чтобы пойти за свежим сеном, да задумалась. Стоит в тусклом свете фонаря, опираясь на кривой черенок вил, сама в шубенке, в старой меховой шапке отца. Все на нее такое надето, чтобы, как нарочно, спрятать красоту. И низенькая она кажется, и нестройная, и черно-смольных косичек с привязанными к ним старинными серебряными монетками не видно. Ну что ж, глаза девушки блестят, как две звездочки, один глаз, как эвездочка Солбан¹, другой, как звездочка Хосхар². Зажглись они особым светом с той поры, как у Эпсе стала заживать раненая нога. Парень давно мог бы оставить избу Хоортая и опять квартировать у кого-нибудь из аальцев, да она, Кнай, его не пускает. И мать, Домна, не ругает ее, и дедушка

¹ Солбан — Венера.

² Хосхар — Полярная звезда.

Хоортай спокойно попыхивает трубочкой. Об отце, вернувшемся из Минсуга, и говорить нечего: для Сагдая Эпсе почти что свой. Да и Сабйс сдружился с ним, еще как за сеном вместе ездили.

Живут Кнай и Эпсе под одной крышей и много слов сказали друг другу. Но самое нужное слово еще просится из груди...

Топтались и шуршали подстилкой овцы, мемекали ягнята, с полу поднимался тяжелый запах, все в катоне было темно-сизым от разреженной мглы и испарений, а в сердце Кнай стучали молоточки, что-то выговаривали звонко-звонко.

— Кнайях, пусти нас в катон, — слышались девчоночьи голоса. Молодая чабанка очнулась и поспешила взглянуть, кто там...

Флаг на крыше штаба качнется под ветром, зачерпнет закатный багрянец да тут же его и процедит на заснеженную крышу, потому она и розовая. Флаг потому горит, что поднят высоко.

В штабе зажгли лампу, и она осветила большую комнату, где, бывало, Пичон принимал гостей. Тот же стол и диван. Только за столом сидит теперь Жарков, сосредоточенно хмурится. Поскрипывают наплечные ремни, перехлеснутые на груди и спине. На одном ремне маузер в деревянной кобуре, на другом — полевая сумка. Толпятся в комнате приехавшие вместе с ним минусинские милиционеры, назначенные командирами взводов ополчения хакасов-добровольцев, набранных со всей здешней волости. Пока Губенков занимался аальскими делами, Жарков тоже не терял времени. Подбирал в отряд людей, проверял их — стойкие ли, владеют ли оружием. Аал окружил цепью постов — знал, кто в него въезжает и кто выезжает.

Вот прошел еще один день, полный забот и хлопот. Командирам взводов даны последние указы.

Жарков вытягивает под столом ноги, распрямляя их с хрустом — давний ревматизм, нажитый еще в партизанскую пору. Полечиться бы, да все некогда. А теперь поход на носу.

Во дворе у крыльца штаба — шум. Кто-то хочет пройти в помещение, а часовой не пропускает.

— Какая нужда во мне, мил человек? — открыв дверь, спросил Жарков.

— Пар-полбинчам, — заговорил, появляясь на пороге Аларчон. — Бумага тавай...

Жарков вопросительно наклонил голову, прислушался к голосу нежданного гостя.

— Бумагу? Пропуск? А в какой аал?

— Андагы, — протянул руку Аларчон, показывая в сторону реки Ахбан. — Анча...

— В заречный, — пояснил вошедший вслед за Аларчоном Эпсе.

— А зачем?

— Ачын харындас болей...

— Младший брат, говорит, заболел. Там живет...

— Камлать будешь?

— Нада камлай. Шибка нада... Худой харындас...

— Ну что, Эпсе? Дать ему пропуск? — спросил Жарков. Эпсе пожал плечами.

— Пожалуй, дам. Хотя не знаю, правду говорит или врет.

Аларчон съезжился. Полуоткрытые глаза уставились в чернильницу-непроливайку на столе.

— Выпишу я тебе пропуск, милый человек, — решительно потянулся Жарков, за ручкой — таволжинкой со вставленным в нее тупоносым «рон-

до». — Один человек? — спрашивает Жарков и выставляет палец.

— Чох! — мотает головой Аларчон. — Ики... Ики кизи, — и показывает два коротких пальца. — Мин бабам бери...

— Ну двое, так двое, — соглашается Жарков и подает Аларчону пропуск. — Ступай.

— Аным чох, Кнай! — выбежав из катона, прощаются с молоденькой чабанкой Таанах и Зойка.

— Аным чох! Бегите скорее домой...

По снегу, по сумеркам девочки спешат обратно. Небо все темнее и темнее, в нем прибывает звездная отара. Мерцают и Солбон, и Читиген, и Хосхар. Бело-синие лучики у них совсем короткие, но если посмотреть на звезду сквозь присмеженные ресницы, лучик дотянется до самых твоих глаз.

— Ягнята, — говорит Таанах, показывая вверх.

— А вот и ихний пастух! — Зойка увидела месяц. — Ишь, нагнулся, чтобы всех сосчитать...

— А в руках у него ярлыга, — фантазирует Таанах. — Только ее не видно...

— А как его зовут? — спрашивает Зойка. — Ты знаешь?

— Знаю. Чил айы... Дедушка Чил айы...¹

На горке аал — совсем близко, окошки светятся огоньками. Где-то в улочке завизжали полозья саней. Кто-то с кем-то перекрикивается. А вот топор стучит — не успел хозяин засветло дров нарубить, теперь тюкает в темноте...

Развеселились Таанах и Зойка, принялись ду-

Ч и л а й ы — январь, буквально «месяц ветра».

рачиться. Сначала подталкивали друг дружку, потом им захотелось петь.

И завела Зойка высоко-высоко песню, услышанную недавно от милиционеров, приехавших с Жарковым. Тогда, вечером, еще при Губенкове, они ее за столом пели:

...Сотня юных бойцов из буденновских войск
На разведку в поля поскакала...
Они ехали молча в ночной тишине
По широкой украинской степи...

— Понравилось? — спрашивает она у Таанах. — Ну ты помогай, Танюшка...

А той не надо повторять дважды. Мотив переняла, а русские слова она схватывает быстро, за это ее Варвара Петровна в школе не раз хвалила.

И Таанах, сплетая свой голосок с Зойкиным, стала помогать Зойке подводить к концу ее русскую песню. Лощину они уже прошли и теперь начали подниматься на косогор.

— Ты, коне-ек во-ро-но-ой...

— Ио! Ио! — вдруг вскрикнула Таанах и дернула Зойку за руку.

Сверху летела пароконная упряжка.

В сумраке огромными казались шумно дышащие и громко топочущие копытами коренник и пристяжная. Стучали отводины саней, скрежетали полозья. Девочки мельком успели увидеть в санях две темные фигуры — вроде бы мужчина и женщина.

Зойка и Таанах старались дальше отбежать от дороги, они уже были за обочиной.

Но тут женщина в санях вдруг крикнула сердитым мужским голосом и, неожиданно выхватив вожжи у мужчины, свернула разбежавшихся коней прямо на обомлевших девочек. Они и вскрикнуть не успели...



Постовой вверху, на горе, пропустивший сани с мужчиной и закутанной женщиной, показавшими ему пропуск, не услышал конца песни. Он все ждал: вот-вот выйдут сами певуньи. Но они так и не показались на горе. Постовой забеспокоился: что с ними? Другой дороги в аал нет.

Зойку, убитую ударом конца оглобли в висок, и Таанах, смятую копытами пристяжной, но живую, нашла Домна, торопившаяся сменить Кнай в катоне. Она бросилась к постовому. Разобрав из ее криков, что произошла беда, он выстрелил вверх. Под гору сбежался весь аал.

В ту же ночь Таанах в кошевке Жаркова милиционерские кони умчали в Минсуг, в больницу. Поехала с ней и Онис.

— Мы шли, пели... Тут кто-то быстро едет с горы. Мы своротили... Крикнул Тойон: «Сарын орыс!» Кони налетели на нас...

— Тойон? — дивились и ужасались люди. — Откуда он тут мог взяться? Разве у кого скрывался в своем сеоке? Детей не пощадили, стоптали конями...

Пулат дознался от постового, кто был в санях.

— Смерть обоим — каму и Тойону! — кричал он и потрясал правой рукой, сжатой в кулак, а левой держался за «меченое» ухо.

Жарков послал погоню, но она вернулась ни с чем.

К Федору и Варе никто не смел подступиться. Оба почернели от страшного горя. Варя затряслась и упала на коченеющее в снегу тело Зойки, зашлась саднящим душу нутряным воем.

— А-а-а-а! — жутко тянула она и то обнимала Зойку, припадая к ней, то рвала на себе волосы.

Федор, сбывчив шею, скрипел зубами, молча глядел он на истоптанный снег, на котором нелов-

ко, боком, подмяв одн руку, прилегла его дочка.

Федор молчал, и это пугало людей. И только старик Хоортай опустилсЯ так же молчаливо на колени р^ядом с ним.

Но вот Федор нагнулся и оторвал от Зойки Варю, которая тотчас же обмякла и упала плашмя на руки — ноги не держали ее, подкашивались.

К ней подбежали Домна и жена АпахА, подхватили под мышки.

Федор осторожно, как перышко, поднял на руки Зойку, распрямился во весь рост. Кто-то указал ему на сани, но Федор только головой помотал. И пошел впереди толпы, с Зойкой на руках. С Зойкой, своей кровинушкой, степным жаворонком, который и перед страшной смертью своей звенел песенкой...

...Смотри, каменное изваяние Хара-Кургена, если только глаза твои могут хоть когда-нибудь видеть. Хорошенько смотри! Рядом с твоим курганом сегодня хоронят русскую девочку Зойку. Вон тот великан, чьи широкие плечи опустила вниз беда и на них мешковато висит прокопченный в кузнице полушубок, — ее отец. Он без шапки, несмотря на мороз. Рыжие волосы его в куржавинках, которые уже не растают никогда. Горе у людей по-разному выходит наружу: у одних слезами, у других — преждевременной сединой.

А вон та маленькая женщина с опухшими, покрасневшими от слез веками, из горла ее вырываются уже не рыдания — сплошной хрип, женщина, чьи щеки белы, как мука, — мать Зойки...

Старик хакас в шубе из грязно-белых овчин,

глядя на погибшую девочку, глухо бормочет: «Постаргай... Постаргай...»¹

Много тут людей. Среди них — Эпсе, жених Кнай, новый председатель аалсовета. Строй добровольцев замер и держит винтовки на караул.

Гроб на натянутых арканах пошел вниз. И в тот же момент над белыми суметами, над Хара-Кургеном грянул винтовочный залп. Вздогнула стоящая поодаль, запряженная в сани Бурка. Накренилась снеговая шапка на каменном изваянии и слетела, рассыпавшись у подножия.

Когда над могилкой вырос земляной холм, Хортай достал из-за пазухи пятиконечную красную звезду, которую сделал своими руками из куса жести. Он укрепил ее на коиусном столбике, врытом у бугра.

...Смотри, каменный лик с Хара-Кургена, если глазницы твои, источенные временем, не совсем пусты. Прямо против тебя этими скорбными, готовыми к последней битве со своим врагом людьми поднята красная звезда, так похожая на настоящую звезду Хосхар, вокруг которой в небе поворачивается и семизвездье Читигена и все ночные светила...

Настоящая Хызыл-Чылтыс никогда не померкнет, и песенка Зойки тоже никогда не умрет...

Глава 28

В первую же ночь после похорон Зойки покинул звездную отару на небесном пастбище старый пастух Чил айы — январский месяц. Ушел он к себе в небесную юрту. Целый год не покажется теперь степнякам. Взойдет вместо него молодой пастушонок.

П о с т а р г а й — жаворонок.

Поздно. Но никто не спит в аале этой безлунной ночью.

Отряд сооирается выступать и держит наготове коней, сани, лыжи. Из дома в дом бегают связанные — передают распоряжения командиров. В домах и юртах, несмотря на неурочное время, топят печи и очаги. Над аалом разносится запах печеного хлеба, вареной и жареной снеди.

Возле штаба добровольцы запрягают коней. В санях увязана поклажа — продукты, боеприпасы. На розвальни, к головкам которых кроме оглобель приделан валец для пристяжки, два бойца и взводный командир примащивают станковый пулемет.

В избе Сагдая проводы. Уходят с отрядом сразу трое — сам хозяин, его сын Сабис и будущий зять Эпсе. Одетые по-дорожному, они присели на длинную лавку, а Домна и Кнай набивают им арчимахи съестным, кладут белье, табак.

Дверь отворилась. На пороге — Улуг Педор. Все повернули к нему головы. В одной руке — мешок с д рожными припасами, в другой — карбин. И Варя с ним в мужнином полушубке с отвернутыми рукавами, в стеганых брюках, в старых валенках, подшитых толстой кошмой. Лицо бескровное, углы губ опустились вниз, глаза как выпитые.

— Вот снарядились, — глухо выдохнул Федор, горбя плечи. — Она с нами пойдет за сестру милосердную...

Он поклонился поясно старику, Домне, Кнай.

— Спасибо за все, люди добрые. Простите, коли в чем мы виноваты... Ты, Хоортай Мангирович, был нам вместо родного отца... — Он еще что-то хотел сказать, но только махнул рукой.

На улице заскрипели по снегу подводы.

— Пора... — Федор нагнулся к Хоортаю и, прижав его к себе, поцеловал. — Ну, может, будем живы — вернемся... И на твоих плечах ноша осталась, Хоортай Мангирович... Коммуна... За кузней досмотри...

Он повернулся и, низко поклонившись, словно и с избушкой попрощался, как с живым существом, протиснулся в дверь.

Рассвет застал походную колонну на том берегу Ахбана.

За спинами бойцов разгорался восток, и по снегу, опережая конных и пеших, вытягивались в сторону запада розовые блики зари. Когда окончательно посветлело, белая степь показалась очень людной. Колонна, разбитая Жарковым на боевое охранение, головную походную заставу, авангард и арьергард, растянулась версты на три. Впечатление многолюдства усиливали курганные камни, тут и там торчавшие из сугробов. Они походили то на бойцов, припавших на колено и изготовившихся стрелять, то на сторожевых всадников, то на женщин-хакасок, вышедших к дороге проводить воинов.

Варя ехала на розвальнях. Сидеть было неудобно. Подвинешься в одну сторону — упрешься в зачехленное пулеметное дуло, повернешься в другую — нагромождены жестяные коробки, отодвинуть которые нет сил, потому что в них свинцовые «гостинцы». Розвальни скрипели и подпрыгивали. Их везла пара низкорослых мохнатых коней. Кони фыркали и шумно дышали, вздымались и опадали их заиндевшие бока. Когда ездовой шевелил вожжами, иней стряхивался с шерсти козленка.

— Но-но! — хрипло покрикивал ездовой и душил Варю клубами махорочного дыма из трубки.

Глядя на ездового вполоборота, Варя видела лишь поднятый овчинный воротник да торчащую из него трубку.

Ярость удесятирала силы Федора, идущего на лыжах, но она же и застилала глаза. И не видел Федор, что за ним на последнем выдохе поспешает сын Сагдая. Лишь случайно обернувшись, заметил его.

Он остановился, подождал молодого добровольца. Дальше шли вместе. Сабис оказался неплохим лыжником. Однако Федор все-таки спросил его, почему он выбрал лыжи, а не коня.

— Сяду только на Солового, — был ответ.

— Так, сынок, — одобрил его Федор. — Так...

Маленького зимовья, сложенного из неошкуренных лесин, не видать стороннему глазу. Над сугробами чернеют два-три бревенчатых венца, в них слепое окошко, а сверху вместо крыши — снеговой бугор. С другой стороны — дверь, которую сторожит пестрая ушастая лайка. От двери протоптанная в глубоком снегу тропинка ведет в чащобу, где, если приглядеться, можно заметить наспех сооруженный из жердей, веток и лапника навес. Оттуда временами доносится конское ржание.

Заржал конь, тявкнула лайка, и из избушки вывалился плотный, как туго набитый куль, скуластый хозяин с заряженным мылтыхом и топором за поясом.

— Э-э, Вороной! Когда вместе с Соловым — деретесь, а когда врозь — тоскливо тебе. И сена мало... Нарублю таловых веток — обгладывай, как заяц...

Тальник впереमेжку с черемушником рос у замерзшей речки. Не речка, а дорога. Отправляйся

по льду х ть в верховье, хоть вниз — в подтаежные аалы. В этих местах делает речка десять больших петель и поэтому называется по-хакасски «Улуг Он» — Большой десяток. Зимовье — на средней петле, ближе к центральному саянскому хребту, к Танну-Туве. А нижняя петля огибает бандитскую Хаза-тайгу.

Пичона все нет и нет. Когда уезжал на Соловом, велел ждать: «Поезду — все узнаю». А куда поехал? Он, Кормас, проследил — в Хаза-тайгу, прямо в руки бандитов... Безумный он, что ли?

Рубит Кормас талу, сам на лайку поглядывает. Кружится она на месте, воздух нюхает, зубы щерит.

Кормас положил топор, забрался поглубже в куст, мылтых держит наготове: «Зверь или человек?»

Повернулась лайка мордой в сторону низовья Улуг Она, сморщила нос, оскалилась, шерсть на ней дыбом. Из горла, к пасти рычанье подкатило, не может лайка его сдержать.

— Тохта, Харагай, — тихо приказывает ей Кормас, а сам уже понял — люди идут, услышал жиканье лыж.

Потом из-за поворота реки показались двое. Впереди — большой, как шатучий аба-медведь на задних ногах, — русский мужик-гора, а за ним — гибкий парень — хакас. Оба с ружьями, с заплочными арчимахами. Остановились. Парень тычет лыжной палкой в снег, что-то показывает мужику, тот кивает головой, рыжая борода трясется. Присели на корточки, головы уткнули вниз. Не охотники они — стволы у ружей тонкие. Карабины это. А кто теперь ходит с карабинами? Ясно — недобрые люди. Может, из Хаза-тайги?.. И снова невольно подумал про Пичона, уехавшего туда.

Курок мылтыха взведен. Охотник держит незнакомцев на мушке, прикидывает глазом расстояние. И вдруг бледнеет Кормас. Заряд-то в мылтыхе — единственный. Убьет одного, а второй не будет ждать, пока он, Кормас, сбегает в зимовье за другим патроном.

А бородатый мужик-гора и тонкий парень поднялись и пошли дальше — прямо к зимовью.

Харагай не выдержал и эалайл. Вороной эаржал под навесом. Лыжники метнулись под защиту берега, укрылись в кустах.

«Дочку спасу... Посажу на коня...» Кормас кричит собаке, указывая на противоположный берег: «У-уйсь, Харагай!», а сам, пригнувшись, выбирается из кустов и бежит к зимовью. Ворвался, оставив дверь распахнутой, и остановился с открытым ртом. Марик в зимовье не было...

Вышла Марик из избушки-снеговушки вслед за отцом, когда он еще Вороного проводывал. Надоело сидеть взаперти, дымом дышать. Вот уже который день живут они тут, отец ждет Пичона.

Про Пичона не хотелось думать. В глаза Марик била такая снежная синева, воздух был таким чистым, что, глядя на осыпанные куржаком, словно вычеканенные из серебра кусты и деревья, она счастливо засмеялась. «Пройдусь до берега, там куст боярки. Рясные багряно-желтые ягоды убиты морозом. Должно быть, вкусная боярка!..» Раздвигая ветки и осыпая снег себе на голову, девушка полезла на куст. Нога нащупала развилку ствола. Марик перенесла на нее всю тяжесть тела и, обняв ствол, принялась обрывать гроздь.

Тюкает топор — отец что-то рубит. Вот перестал. Харагай лает. Голос отца: «У-уйсь!» Марик вытягивает шею. Кто-то за береговым выступом негромко уговаривает собаку...

Девушка рванулась вниз — бежать к отцу или в зимовье, но развилка не пустила ногу, ступню зажала. А сзади — быстрые шаги. Отец, дышит тяжело. В руках ружье и котомка. Шапку потерял в кустах.

— Спасаться надо! Скачи вверх по речке на Вороном...

— Паба! — билась на боярышнике И плакала Марик. — Ногу зажало!

— Э-эй! — раздалось с реки. И тут м^е второй, потоньше: «Э-эй, Ма-ри-ик!»

Она не поверила своим ушам. Ее окликнули по имени?! И голос такой знакомый... Отец будто окаменел.

— Мари-ик, это я — Сабис-ис!

Трепыхаясь на ветке, Марик подняла голову и увидела, что Сабис быстрыми шагами пересекает стылую, заметенную снегом речку. А за Сабисом, отбиваясь от злобно рычащего Харагдя, бежит Улуг Педор. Как не узнать его! У кого еще такие плечи, такая огнистая борода!

Забыв свой недавний страх, Марик замахала рукой

— Сабис, дядя Педор! Здравствуйте!

Глава 29

На вершине покрытого редколесьем холма, в версте от северо-восточного прохода в Хаза-тайгу, стоят, спрятавшись за стволы сосен, четверо. Один из них держит у глаз бинокль, двое смотрят из-под руки, четвертый не принимает участия в наблюдении; у него в руках какой-то берестяной круг, прошитый жилами.

Марик помогла Улугу Педору разговориться с отцом, и кузнец рассказал охотнику все, что произошло в аале Чобат.

Кормас задумался: «Пичон? Да мы же с ним вот такие друзья были, еще с каких лет! Не верится... Однако сам видел след Солового от зимовья — Пичон поехал в Хаза-тайгу... Как же так — тут один Пичон, там — другой! Какой настоящий?»

Стал Кормас припоминать, с чего началась их дружба. Пичону надо было узнать скотогонные тропы через Саяны — из Хакассии в Урянхай. Стало быть, Пичон искал, где покорооче путь, чтобы стада быстрее пригонять. Кормас места показывал, Пичон за это деньги давал, аракой поил. Петрицкий, хозяин рудников, покупал у них скот — рабочих кормить. Золотом за скот платил. Пичон называл золото — «желтый жеребец». У Пичона был «желтый жеребец», у Кормаса — нет. Однако далеко поехал на «желтом жеребце» Пичон — в город Казань. Говорят, большую науку прошел. А Кормас в тайге жил, сосне молился, совсем темный... Верно, медведь корове не брат...

Потом Пичон забыл Кормаса — звонко ржал Пичону «желтый жеребец».

Только красные когды пришли, опять стал Пичон Кормаса другом называть. Пришел к нему: «Глухую дорогу через Саяны кажи, Хаза-тайгу кажи». Показал — в Хаза-тайге теперь банда. Откуда Кормас мог знать, что посадил ее там Пичон, председатель аалсовета? На наш аал Чорбит налетели, охотников увели, жену мою Тодыс увели... Сколько хакас-кизи — наших людей — такую беду терпят!

Вот этот орыс-кизи, Улуг Педор, говорит, что Пичон хочет нашу землю врагам передать. Петрицкого ждет, Унгерна ждет. Сам хозяином всей Хакассии назвался — бумагу написал...

Вон какой ты, Пичон! Своего «желтого жеребца» нет, так ты на чужеземного собрался пере-



сесть? А платить за него хочешь земель наших от-
уов хакас-чири!..

Где, Кормас, были раньше твои глаза? Не раз-
глядел ты, что Пичон совсем как чылан. Ты змею
пригрел, ему доверился. Родную дочь на воспита-
ние отдавал, собирался помочь ему уползти за Са-
яны...

Он и в своем аале много худого сделал. Скот
велел резать — в Хаза-тайгу собирался везти,
банду кормить. Его брат Серге на Сагдая напа-
дал. Айну какого-то держал Пичон рядом с
аалом. Говорят, теперь этот айна тоже в Хаза-
тайге. У самого Улуга Педора дочку конями стоп-
тали...

Долго сидел Кормас, подперев обветренными,
шелушащимися руками голову.

— Пойду к вашему комысару. Пичона взять
помогу.

Появившись среди бойцов, Кормас занялся не-
понятым для всех делом — надрал бересты, до-
стал из арчимаха иголку, пучок тонких сухожилий
и принялся что-то мастерить.

Отряд Жаркова занял лесистую низину перед
ущельем — единственными воротами в Хаза-тай-
гу-

— Крепость, — говорил, выйдя на рекогносци-
ровку, Жарков. — Природная крепость!

Жарков водил биноклем то поверху, то понизу,
часто протирали бинокль платком — запотевали на
морозе стекла.

— Ночью... Да, ночью... Пожалуй, правильно..
Восточная скобка пологая к нам. Снимем наблю-
дателей. Где-то у них там должна быть тропа, по
которой они скрытно проходят. На том вон зубце
поставить пулемет.

Сзади заскрипел снег под чьими-то тяжелыми
шагами, командиры обернулись: Федор Полын-

цев и незнакомый хакас в косулей дохе. В руках у хакаса какая-то береста.

— А, Федор! Гляди, Федор Павлович, мил человек, какая она, Хаза-тайга. Крепость... Тут у меня соображение одно есть, как наши силы расставить... Как прошла круговая разведка? Кого застали на том зимовье?

— Вот его, Кормаса.

— А почему ты думаешь, что можно доверять Кормасу? Кто он такой? Чем занимается?

— Охотник. Он из таежного аала Чорбит. С Пичоном-то у него давнее знакомство. Его дочь Марик у Пичона жила. Кормас и Хаза-тайгу ему показал, а тот банду в нее посадил — все это мне рассказала его дочка, с его же слов.

— Та-ак! — нахмурился Жарков. — Форменный сообщник.

— Оно будто бы и похоже на то, и непохоже, Петр Иванович. Я к Кормасу пригляделся. Простодушный он. Бандиты его самого из аала выгнали, а жену к себе увели. Человек сейчас сам не свой... Помочь нам собирается. Да вы поговорите с ним сами, велите Эпсе, пусть он переводит...

Федор шагнул в сторону.

— Ну что скажешь, мил человек? — обратился Жарков к Кормасу.

Охотник заговорил, хватаясь то за голову, то за сердце:

— Обманывал Пичон много лет.

— Ну, об этом мы слышали. Ты короче. Какая от тебя нам помощь?

— Хаза-тайгу знаю. Вот она, — перевел Эпсе.

Кормас протянул Жаркову прошитую жилами бересту. Это был макет Хаза-тайги.

— Ну-ка, ну-ка... Действительно, похоже... Мда-а, вот западная скобка, вот восточная. Эпсе, спроси его: был он у бандитов в Хаза-тайге?

Эпсе перевел вопрос Кормасу, тот отрицательно замотал головой.

— Тогда где, по его мнению, они обосновались внутри Хаза-тайги, в каком месте? Пусть покажет.

— Кюль, — ткнул прокуренным пальцем Кормас в середину макета, где жилами был прошит неправильный круг величиной с ладонь. — Хая, — палец коснулся крутой выпуклости. — Чыс, — повел он по натыканным в бересту веточкам.

— Озеро... Скала... Лес, — переводил Эпсе.

— Таг тозинде, — твердо сказал Кормас.

— У горы... У основания горы, — как эхо отозвался Эпсе.

Жаркову захотелось узнать, почему охотник, ни разу не видевший бандитского стана, утверждает это. Эпсе заговорил с Кормасом и потом пересказал разговор:

— Рыть землянки и ставить избы можно только на опушке леса. В других местах сплошной камень, озеро, скалы...

— Спроси его, далеко ли от того зубца до опушки леса.

— Пир верста, — Кормас поднял один палец.

— Ну что ж, прицельный огонь вести можно. — Жарков потер небритый подбородок. — Значит, так... Эпсе, скажи ему, если он соврал, если он подослан к нам Пичоном — расстреляем...

Кормас заговорил. Он показывал то на себя, то на берестяной макет, то на Хаза-тайгу. Долго говорил Кормас. Наконец Эпсе кивнул ему. «Довольно» и принялся говорить сам.

— Он знает подземный ход. Говорит, что тут, в стороне от прохода, есть в горе расселина, но не до самого подножия. А внизу — сквозная пещера. По ней летом из озера выбегает ключ. Сейчас воды в озере мало, ключ не течет. По пещере можно

пройти. Но там, в горе, она ветвится. Нижний хвост в озеро уходит, под лед, верхний — наружу выходит, на той стороне горы. Там невысоко — один аркан, совсем короткий. Бандиты не знают, потому что выступ есть перед выходом, он пещеру закрывает. Совсем не видно...

— Это бы как раз то, что нам надо, — задумчиво проговорил Жарков. — Только не могу я ему поверить. Ну, есть там ход, а вдруг в нем — засада. Побьют наших людей...

— Дочь у него здесь, с нами... С Варей моей...

— Ну и что, что дочь? Ты-то веришь ему, По-лынцев? — поглядел в глаза Федору Жарков.

— Верю, Петр Иванович...

— Ну, так ты и пойдешь с ним. Людей подбери сам. Но, в случае чего, помни — поручился ты... — Жарков снова припал к биноклю. — Вон тот зубец...

— Спрячьте бинокль, — попросил Федор. — Солнце хоть и за скалами, да от тех зубцов блики падают. Не ровен час — блеснут стекла... А я его вижу — хоронится за камнем. Разрешили бы его снять? А, Петр Иванович?

— Мало тебе одного задания? Вижу — мало... Ох, Федор, Федор...

Гора с зубцом на вершине только снизу кажется пологой. Попробуй подняться на нее! Федор тяжело ступает, проваливаясь в снег по колени. Карабин висит на груди, в руках у Федора толстый березовый кол — «конь». С такими «конями» хаживали на горы рабочие рудника «Улень», где он жил подростком. Идут вверх, наваливаются на палку всей тяжестью тела, а вниз — садятся на нее верхом, чертят по снегу концом палки и собственными пятками. Он уже прошел лесистый

низ склона, теперь его защищает только шеренга низкорослых кривых сосен.

Кончились сосны. Он упал в снег и пополз.

В Хаза-тайге плавают сумерки. Тускло светятся окошки землянок, багрово и дымно горят костры. Мимо землянок и костров идет, сутулясь, Харбинка, правая рука на расстегнутой кабуре.

Не в первый раз он обходит лагерь.

Волны мрака накатывают на землянки от стилой стены Кюль-тасхыла. Должно быть, из-за тяжести, которую нельзя спихнуть с плеч, думает Фрол, в землянках и около костров разгораются ссоры. Не раз под пьяную руку поднималась стрельба. Хазатайгинцы готовы глотки друг другу перегрызть из-за женщин, похищенных из аалов. Харбинка уже знает немного по-хакасски и сам слышал однажды, как толстый кызылец говорил молодому парню: «Вот из-за кого мы сидим тут, как барсуки в норах. Перерезать бы обоим главалям глотки и раствориться в народе!» А разве у него самого не было мысли плюнуть на Пичона и убраться подобру-поздорову за границу?

А кобура все-таки расстегнута. Он, прапорщик Самохвалов, хорошо знает свое дело. Надо усилить караулы, дозоры. Того и жди начнется пурга, красные могут воспользоваться плохой погодой. А тут еще этот шаман...

...Стороной обходит Харбинка большой костер, там Аларчон. Заболел какой-то парень, и кам хочет лечить его по-своему. Харбинке нельзя к тому костру, он, русский, — помеха в языческом обряде. Он нажал плечом на скрипучую дверь избушки, засветил жирник, перезарядил наган.

Мечется пламя костра, дым его горек. Лиственничные сухостоины и карчи, обугливаясь, дают

спокойный жар. Но время от времени трещит и стреляет искрами попавший в костер еловый валежник. В свете пламени положили на хвойный лапник больного.

Половина толпы качнулась направо, половина — налево, и в образовавшийся проход вступает Аларчон. Он ни на кого не смотрит, тяжелые веки несет полуопущенными, руки висят, будто камчи.

Вот он подходит к костру, опускается на кучу лапника, но не притрагивается к шаманскому одеянию, растягивается на ветках.

— Пусть кам отдохнет! У него дальняя дорога в страну духов. Надо выкупить у Таг-эзи здоровье парня...

— Ио, Иген. Парень, однако, заболел не из-за Таг-эзи, а из-за этого орыса. Долго держит в карауле, на морозе. Сохнет моя печень от Харбинских порядков. Зачем Пичон поставил его над нами?

— Верно, Апсалай... Ты уже воевал против красных. Сейчас мог бы командовать всеми нами...

— Э-э, бросьте! Серге еще вернется. Уж он-то отберет власть у Харбинки...

— Серге? Кто это сказал? Ты, Камат?

— А что?

— А то, что Серге, говорят, ушел к духам. Пасет табуны Юзут-хана¹.

— Неправда. Пичон послал его к Унгерну, он остался там, а вместо него приехал этот Харбинка...

— А куда же девались Полит и Отой? Они были вместе с Серге.

— Тохта... Гляди!..

Аларчон поднимается с кучи стланика. Знаком просит пить. Ему подают немного араки.

¹ Юзут-хан — дьявол.

Кам, отведав ее, идет прямо на толпу. Никто не смеет заступить дорогу каму. Он направляется от костра к землянкам. Останавливается возле каждой, простирая руки и глухо бормоча, призывает тайные силы.

Нельзя мешать ему. Духи за это сурово наказывают. Аларчон идет один, все дальше и дальше от большого костра — до последней землянки. Потом возвращается к костру.

— Семь ведер воды приготовьте...

— Вода принесена, Аларчон-абый.

— Семь священных поясов... Семь веток боярышника...

Аларчон встал над шаманской одеждой и сбросил руки. С него сняли шубу и надели другую, увешанную суконными лоскутками всех цветов, мелкими колокольчиками — шаркунцами. Подали бубен — величиной с ручное решето-севалку, легкий, гулкий. Кам взял его в левую руку и приподнял, пробуя, хорошо ли натянута кожа.

Как только Аларчон облачился в свое одеянье, а в руках его оказались бубен и колотушка, не стало того вялого низенького вислогубого человечка, который, казалось, сам себе был в тягость. Перед хазатайгинцами стоял сверкающий черными глазами, весь напружиненный, молодцеватый кам.

«Тум-мп!» — Аларчон ударил в бубен и быстро крутанулся. Полы шубы плеснулись за ним, и тотчас же вокруг его ног рассыпался мелкий-мелкий дрожащий звон. «Тум-мп!» — Кам развел и свел плечи, и в такт этому его движению звякнули и шелкнули бубенцы, привязанные к рукавам и спине.

«Тум-мп!» — бубен словно сам подпрыгнул, а колокольцы и побрякушки залились звоном.

Кам начал священный танец...

«В Хаза-тайге тревога!» — екнуло сердце Федора.

Подтолкнув пленного к Апаху, Федор осмотрелся. В сумерках смутно проглядывается озеро, лес на том его берегу, на опушке костры. Барабан гремит...

Он подозвал Апаху.

— Спроси ты его, чего они там заколготились.

— Э, Улуг Педор, не пугайся. Приехал кам. Это его бубен. Для нас это лучше. Когда и'лухарь токует — ничего не слышит.

— Вот оно что! А ну, ребята, поспешдй!

Внизу их ждал отряд. Отозвав Федора^в сторону, Жарков сказал:

— Пленным займемся сейчас же. А когД^а поидете с Кормасом к той пещере, возьмите ручной пулемет. И вот — ракеты. Сбейте главное охранение. На лагерь не нападайте. Сигнальте НМ. Его возьмем потом, общими силами... На опасное дело посылаю тебя. Не горячись, будь осторожен!

Отряд уже вытянулся гуськом по лыжне, когда Федор, обернувшись, увидел — кто-то лишний идет сзади. Остановился, пропустив мимо себя Апаху и других бойцов, пригляделся к замыкающему.

— Сабис! Я ж тебе не велел!

— Не могу, ачан Педор. Мин клятва давал.

— Знаю твою клятву... А с нами тебе нельзя. Если себя не жалеешь, парень, ты хоть про дедушку Хоортай подумай.

Но Сабис упрямо твердил:

— Андагы¹ Тойон, Соловый... Айнам тутча...

¹ Андагы — там.

² Меня зло берет.

Сейчас меня прогонишь, все равно догоню... Ночь буду идти — догоню...

— Эх, палам, палам, — неожиданно для себя сказал Федор. — Ну что мне с тобой делать. Пошли! На вот тебе ракетницу.

Кормас далеко впереди, теперь трудно его догнать. Федор тяжело нагружен. У него за плечом громоздкий ручной пулемет системы «Шоша». Губенков выделил из арсенала, оставшегося еще с девятнадцатого года: партизаны Щетинкина отбили этот иноземный пулемет у колчаковцев. Они огибали восточную скобу Хаза-тайги, когда Федор забеспокоился:

— Апах, спреси-ка его, не подстрелят нас тут, на пути?

Узнав, о чем тревожится Улуг Педор, Кормас покачал головой:

— Как на нее с той стороны забраться? Там утес...

Легко несут Кормаса его лыжи, самодельные, охотничьи, подбитые мехом. Тяжелый мылтых пригнан так, что не колотит спину. Длинный охотничий нож на поясе не звякает в ножнах. Идет Кормас широким скользящим шагом, не убыстряя его, не замедляя, хотя прокладывать лыжню по снежному целику нелегко. Петляет лыжня, огибая деревья, каменные торцы.

За полночь проводник остановился у расселины и заговорил с Апахом, показывая то на русло ключа, то на каменную стену. Выше шла расселина: ключ бежит с той стороны, из озера, бежит летом, когда в озере много воды. Осенью он — маленький. А пришла зима — совсем замерз. Тут и проход...

— А разве хазатайгинцы не могли поставить здесь пост? — опять встревожился Федор.

— Не поставили. Какой айна их туда занесет?

— Но выход воды из озера бандиты видели?

— Когда видеть? Летом в нем вода, сейчас — лед.

— Как же мы туда попадем? Там, наверно, столько льду, что за неделкі не раздолбишь.

Объясняя что-то Апаху, Кормас сначала несколько раз повторил слово «камка». А потом показал на плечи Федора.

— Он говорит, в брюхе горы хода два есть, как двухвостая камча. Еще говорит, мы с ним мала-мала пролезем, а ты, однако, застрянешь.

Федор с досадой посмотрел на свои плечи.

— Нада пробуй. Полушубок снимешь, может, пролезешь.

— Пробовать — так пробовать...

Кормас подвел их к тому месту, откуда летом вытекал ручей. Было видно только отверстие, ведущее в скалу, все остальное было в снегу. Большой сугроб разгребали лыжами. Скоро образовался проход, по которому, согнувшись, можно было проникнуть внутрь горы.

Лыжи оставили под кедром.

Первым полез, на всякий случай взяв нож в зубы, Кормас, проскользнул Сабис с полушубком Федора, за ними Апах, и только потом — сам Федор. Такой порядок предложил Кормас — если Федор застрянет, они вдвоем смогут и друг друга держать, и тянуть его наверх. А снизу им помогут проталкивать своего командира остальные пластуны.

Но нижняя пещера постепенно расширялась, становилась выше, и Федор облегченно вздохнул.

Кормас вел их, держа в руках горящий берестяной факел.

В пещере дуло, и это убедило Федора, что Кормас ведет пластунов правильно.

Дошли до ответвления, которое забирало под уклон вверх. Кормас опять заговорил с Апахом.

— Тут тебе придется стать кривым шилом, — перевел тот, а Кормас еще и рукой показал, что ход изгибается.

Пришлось ползти на четвереньках, а потом лежа на животе. Дальше потребовалось повернуться боком, чтобы обогнуть выступ. Трудно приходилось Федору.

Наконец проход стал свободнее, и Кормас, Апах, Сабис, за ними Федор и остальные отрядники очутились в другой пещере. Кормас потушил факел. Федор одевался на ощупь. На ощупь проверяли оружие пластуны.

— Ходить осторожно! Там выступ, за ним обрыв.

Держась друг за друга, отрядники подошли ближе к зеву пещеры, увидели ночное небо. На разгоряченного Федора пахнуло морозом Кормас привязал аркан.

— Вот она, Хаза-тайга. Там, где костры, их лагерь. Мы его обойдем. Так, что ли, Кормас?

Проводник подтвердил.

Попробовав, крепок ли аркан, Федор велел первым спускаться Апаху. Федор сосчитал до двадцати, аркан все еще был тугим. На счете двадцать пять ослаб, а затем задержался. Значит Апах спустился благополучно.

Соскользнул по аркану Сабис. Один за другим спустились отрядники. Теперь те, что внизу, ждали только Федора и Кормаса.

Спускаться Федору пришлось труднее других. Аркан раскачивался, скользил. Вдобавок тянул вниз тяжелый «шош». С большим облегчением он вздохнул, когда его ноги коснулись твердого.

Пичон рано ушел с камланья. Не сняв полушубка, только расстегнув его, прилег в избушке на узкий топчан. О многом сегодня необходимо

было подумать. Аларчон и Тойои привезли худые новости. Там, в аале Чобат, собрался большой отряд красных. Вот-вот выступит. А куда? Конечно, пойдет на Хаза-тайгу. А может быть, красные уже у ворот Хаза-тайги?

Правильно ли он сделал, что бежал сюда из аала? Сначала гнал страх. Но потом, в избушке Кормаса, было время все хладнокровно обдумать. Хаза-тайга — последняя его ставка. Слишком крупную игру вел Пичон! Но карты перетасованы, а два главных козыря, на которые он надеялся, так и не вышли. Петрицкий торопит с отделением Хакассии, а сам отсиживается под крылышком у японцев. С Унгерном в этот раз связаться не удалось. Да еще Серге... Как глупо погиб! Стоило ли при таких обстоятельствах самому лезть в капкан? А ведь, в самом деле, похожа на капкан Хаза-тайга. Эти скобки... Сюда нет легкого входа. Но и отсюда нет выхода, если враги рядом.

«А не рано ли, — думает Пичон, — поддаваться таким паническим мыслям? Ведь у меня есть армия. Если будет бой, еще неизвестно, кто кого. Самохвалов не терял времени. Крепко закрыл ворота Хаза-тайги. Бесполезно штурмовать их в лоб. Будь у Жаркова вдвое, втрое больше людей, чем у меня, и то простоям до весны. А весной, если только Унгерн соберется идти через Хакассию, мы сами хлынем отсюда, затопим и Аскиз, и Хастум, и Минсуг».

Вспомнился ему Хоортай. «Правдолюбцем слышет в аале. Этого русского выгораживал, сумел расколоть сеок Хапына. Каной, Апах, Пулат и многие другие за ним пошли. Байский скот делили. А ведь раньше был смирный. Что же это происходит с хакасами, если даже старик — в чем душа держится — почувствовал силу? Или это все из-за русских, которые селятся в наших аалах? Да

нет, не все русские одинаковы. Вон Фрол — русский же... Главное сейчас — отсидеться в Хазатайге. Только зря Кормаса отпустил — нужно было предупредить его: мы с тобой одной веревочкой связаны, так что и тебе другой дороги нет. Может быть, Кормас и еще пригодился бы в случае чего... Что это так громко стучит? Бубен?»

Мысли и мысли, одна тянет за собой другую. Хочется отдохнуть от них... Он встает, начинает ходить по избушке, сунул руку за пазуху, вынул плоскую металлическую коробочку, подержал на ладони, спрятал снова. Вдруг до него донеслись крики, удаляющийся конский топот.

Что там такое произошло, у большого костра?

Мухортый не стоит спокойно в загородке — то в одну сторону метнется, то в другую. Тут остатки его косяка. Зимовка у коней полуголодная, новые хозяева ленятся подвозить корм, все больше на подножном косяк Мухортного. Время от времени коням достается по охапке соломы. А еще им рубят тальник, который они обгладывают добела. Косяк этот хазатайгинцы держат на мясо. За ездовыми конями — другой уход. Те стоят в другой загородке.

Что-то Мухортного тревожит, какие-то запахи он чувствует, напомнили они ему большой табун. Двигает Мухортый ноздрями, а сам все ближе, ближе к пряслу. Тут он недавно пытался копытить снег, чтоб ушипнуть клочок сухой травы. В самой загороди все выщипано, а за ней — есть трава, да жерди мешают. Ударил копытом по жердине — та затрещала, колья, державшие ее, зашатались...

Надо ему из загородки туда, где пахнет табуном. Нет, не табуном. Только у коня золотистой масти был такой запах. На нем табунщик ездил...

Мухортый поворачивается к пряслу и лягает его задними копытами.

Он одним прыжком перемахнул, скорей туда, на этот запах. Недалеко от избушки поставлен Соловый. Он привязан к дереву за чомбур уздечки, на нем попона, а перед самой мордой — сено.

Не заржал, а взвизгнул Мухортый. Кружит, подбирается к Соловому, обнюхаться с ним хочет. Оба жеребцы, обоим им надо достать друг друга зубом или копытом.

А Соловый запереступал, забился на чомбуре. То зад повернет к Мухортому, то оскаленную морду. Силы у Солового больше, он молодой, его хорошо кормят. Но Мухортый, худющий и злой, кажется ему страшным, кажется ему врагом.

Подобрался-таки Мухортый к Соловому, хватил зубами за холку. Соловый рванулся изо всех сил, порвал чомбур. Жеребцы заплясали, закопытили друг перед другом.

К дерущимся коням прибежал Тойон. На крик Тойона явились Иген и Апсалай. В разные стороны кинулись жеребцы. Хазатайгинцы погнались за обезумевшими конями...

Оказавшись в Хаза-тайге, Федор осмотрелся. Вот оно, вражье гнездо! Хотя и глубокая ночь, а все-таки можно разобраться — вон темнеющий лесистый склон. Там, у подножья, лагерь. Горят огни, спуют люди.

Землянки от Федора справа, в версте. Слева — утесистая стена восточной скобки. Надо двигаться вдоль нее, к ущелью. Пластуны пошли, прижимаясь к скалам.

— Держись ближе ко мне, — говорит Федор Сабису.

Идут гуськом. Впереди — Кормас, за ним Федор, потом Сабис, Апах и остальные отрядники. Вот и поворот в ущелье. Здесь, в кустах, пришлось залечь. Долго наблюдали пластуны за ущельем, стараясь определить поточнее, чем оно

перегорожено и где охранение. Федор думает: «Надо, чтобы те, из землянок, в спину нам не ударили. Придется на засеку идти не всем — оставить тут прикрытие...»

Вдруг он услышал крики, доносящиеся от большого костра и перекрывшие звуки бубна. «Неужели о нас пронюхали?» Послышался топот копыт, и прямо к воротам Хаза-тайги помчался конь. Вскрапывает конь, верхового нет. Что за притча?

Закричали в ущелье. Ловят коня или заворачивают?

Два или три человека бегут от лагеря к засеке — кричат: «Ат!.. ат! Тудызарга¹ ат!» А в ушах Федора это звучит «ад!».

— Апах, ты видишь? — показал он на бегущих. — Скажи Кормасу и всем — за ними... Тоже кричите: «Ат! Держите!»

Пластуны пропустили хазатайгинцев, а потом побежали сами.

Впереди темнеет какая-то масса, наверно, завал из бревен.

По ущелью мечется ошалелый конь, его ловят.

Пластуны тоже бегут с криками «ат! ат!». Федор где-то в стороне, где тень от скалы, где кустарник погуще. Наконец вот она, засека, — совсем рядом. Бандиты думают, что это бежит подмога. Радужно вспыхнул на стене огонек зеркала.

«Сейчас, — колотится у него сердце... — Сейчас... Но только не надо, чтобы наши перемешались с ними». Рывком он отрывается от кустов, бросается к засеке, опережая пластунов. Только теперь в той группе хазатайгинцев, что ловит коня, замечают — это кто-то чужой! Но Федор не дает им опомниться. Пулемет брызнул пламенем, зарокотал в его руках...

— Ракету, Сабис!

¹ Т у д ы з а р г а — держи.

В окно избушки плеснуло красным и зеленым. Радужно вспыхнул на стене огонек зеркала.

— Так скоро? — Пичон вытащил наган, бросился в двери. — Пулемет в Хаза-тайге? Как они прошли? Где Харбинка?

От большого костра в лес бежали хазатайгинцы.

— Чаачи, стойте! — кричал Пичон.

Прямо по лагерю хазатайгинцев ударил станковый пулемет.

В ущелье ворвались бойцы Жаркова. Ракеты Сабиса указывали им направление. А Федор, чтобы не попасть в своих, зашел во фланг засеки. Апах подавал запасные диски. Где-то рядом бухает мылтых Кормаса.

— Сдаемся! — по-русски крикнули с центра засеки.

— Складывайте оружие, выходите!

Варя продвигалась вперед со всем отрядом. Плечо ей оттягивала тяжелая и громоздкая санитарная сумка. Она отстала от своих спутников. Вглядываясь в распростертые на снегу тела, с тревогой думала о муже. Раскатисто зарокотал пулемет, она не знала чей. Но вот взвились ракеты, и Варя увидела бандитов, поднявших руки.

— Сестрица, помоги!

Варя сделала несколько перевязок. Ей светили время от времени взвивавшиеся ракеты.

Кто-то медленно полз в зарослях, тяжело, надсадно дыша, изредка вскрикивая от боли. Потом вдруг затих. Умер? Варя заспешила.

С трудом разглядела лежащего ничком человека. Человек не шевельнулся, но Варя скорее почувствовала, чем поняла, что он жив. Она осторожно стала переворачивать его на спину.





— Где тебя, родимый? Куда угодило-то?

Свет вспыхнувшей ракеты проник и сюда, в заросли. Варя успела увидеть бледное, темнобородое лицо.

— Варя, узнаешь? Это я... Фрол.

— Ты?!

— Ваша взяла, вот оно как! А я... послушай... Знал, что не судьба. Искал тебя...

— А как ты Фединога отца... Как дочку нашу!..

Харбинка куснул снег, забился головой о носки ее затоптанных валенок.

— Не виновный я...

Кто-то резко взял ее за руку. Она обернулась и увидела Жаркова.

— Так это Самохвалов?

Варя кивнула.

Жарков сказал бойцам:

— Возьмите этого, — и показал на Харбинку. — У нас с ним будет особый разговор. Кладите его на эти салазки...

— Хара-айна, где Самохвалов? — кричит Пичон.

Красные прорвались непонятным образом, но теперь некогда это выяснять. Важно остановить бегущих.

— Чаачи! Стойте, чаачи!

Пичону и жарко, и холодно. Пот заливает лицо, кожу на спине продирает мороз. Того и жди, достигнет пуля.

Вот одна из ракет повисла, стало все видно, как на багряной заре. И тотчас же по опушке ударил пулемет. За секунду до того, как ракета догорела, Пичон успел разглядеть впереди наступающей цепи фигуру ненавистного Улуг Педора.

«И он здесь?! Как пробрался? Не врут ли мои глаза?» А глаза выхватили рядом с Полынцевым еще парнишку — тот закладывал новый патрон в ракетницу. «Это же Хоортаев кучук — Сабис!»

Ему кажется: цепи красных бойцов идут на него одного и стреляют только по нему. «Если здесь жив останусь — в Минсуге расстреляют».

Опять вспыхнула ракета. И уже совсем близко — ломкий юношеский басок:

— Ачан Педор, вон он бежит! — этот щенок Хоортая указывает на него русскому.

— Сто-ой! Руки вверх! — кричит Полынцев и стреляет. Может, нарочно бьет мимо?

— Живым не дамся, — Пичон резко вскидывает наган, наугад стреляет в своих преследователей.

— Ханчы!¹ — кричит кто-то сзади. — Все равно не уйдешь!

«Уйду!» — бежит к избушке, запирает дверь на засов. Выстрелил в окно, теперь сунутся не сразу. Слышно — добежали, топчутся, скрипит снег. Кто-то полез на крышу. Зачем? Гранату — в трубу?!

«Значит — все. Конец мне! — скрипит Пичон зубами. — Но погодите, скоро наши тряхнут вас! Жалко — не увижу. — Он застонал: — Ну что же, первый президент отделенной Хакассии... Вместо «желтого жеребца» получай «белый силок».

При вспышке очередной ракеты на ладони у него блеснула металлическая коробочка: стрихнин, которым травят волков.

Эпилог

Любят саянские беркуты солнечную хакасскую степь. Много их кружит весной над здешним аалом, и люди привыкли к птичьей карусели над

¹ Х а н ч ы — кровопийца.

своими головами. Но такого огромного беркута, который кружит сейчас над Хара-Кургеном, никто из степняков не видел.

Беркут не пепельно-серый, с огнистым отливом — зеленый. Крылья его не машут — недвижно раскинуты в стороны, и снизу на них можно увидеть две красные звезды.

К Хара-Кургену из аала повалила толпа.

Маленький биплан еще крутил красным пропеллером, когда аальцы с опаской остановились в небольшом отдалении от него. Пилот поднялся, вылез на крыло, подал руку кому-то, прилетевшему с ним.

И тут толпа издала удивленный и радостный крик. Из кабины сначала показалась рука, сжимающая таях. Вслед затем оттуда выбрался Хоортай в новом шерстяном тааре. Один глаз его был прищурен. Запрокинув голову, он посмотрел вверх, где только что летел сам, потом взглянул на аал, на Хара-Курген и теснящихся под ним аальцев. Тут Сагдай, Эпсе, Улуг Педор, Варя. А вон — Кнай, Домна, Апах, Кормас. Все смотрят на него, Хоортая, как на человека, который с неба свалился. А он и в самом деле — оттуда.

Хоортай пожал руку пилоту:

— Спасибо, труг. Чахсы летел. Один раз в Минсуге думал, другой раз — дома...

Федор подошел к аэроплану. Опершись на его плечо, Хоортай спустился на землю. И тут к нему бросились и стар и мал. Пожимали руки, спрашивали, что он видел в небе, не рассердился ли на него Худай за то, что полетел на железной птице.

— Чох, — замотал головой Хоортай. — Все небо объехал, Худай не видел.

— Он так испугался тебя, что за облако спрятался, — улыбнулся шутник Апах.

— Однако так, — откликнулся Хоортай и за-

говорил важно: — Послушайте еще, какая новость. Советская власть хочет, чтобы хакас-кизи сами степью распоряжались. Для того в Минсуг звали. Много аксакалов-коммунаров было. Из Хуба-чара, из Шира, из Аскиза...

— Степью распоряжаться? Сами? Без русских большевиков?

Хоортай взглянул в ту сторону, увидел сильно постаревшего за зиму Хапына. Бывший бай стоял в старом тааре, перетянутом сыромятным ремешком. Редкая борода его тряслась, глаза слезились. Табунов нет, Тойон бежал, когда его везли из Хаза-тайги. А отца успел ограбить — шкатулку увез. И все-таки Хапын еще думал о чем-то своем...

— Зачем без русских? С ними — только без наших баев, — ответил по-хакасски же Хоортай. — На совете в Минсуге об этом говорили.

— А помнишь, Хоортай Мангирович, Пичонато? — спросил Федор. — Отделенная Хакассия?

— Пичон хара-айна... Пичона выбирать: баи ездили. Хапын ездил. Настоящие Советы делать — Хоортая позвали...

Солнце искоса осветило изваяние на Хара-Кургене, каменное лицо будто дрогнуло. Но тот же луч нашел маленькую красную звездочку над могилой Зойки. Звездочка ярко блеснула.

Хоортай понял: Улуг Педор и Варя видят сейчас только эту звездочку. Он поглядел в степь.

А где Сабис? Не видел, как дедушка с неба спустился?

И лишь он подумал об этом, заметил мчащегося Солового и на нем два всадника. Сердце старика радостно дрогнуло... Рассмотрев, кто же там на коне с его внуком, он улыбнулся.

Сабис направил Солового прямо к диковинному беркуту, но конь, обеспокоенно кося глазом, всхрапнул, застриг ушами и осадил назад. Парень

спрыгнул и, совсем как алып из сказки, подхватил Марик, на вытянутых руках перенес по воздуху и поставил около себя.

— Эй, Марик! — смеясь, воскликнула Кнай. — Где это ты моего брата задержала?

— Сабис, палам! — опираясь на таях, Хоортай шагнул навстречу внуку.

— Агам, как этот летел, — Сабис ткнул пальцем в сторону самолета. — Мы видели и слышали. Марик сильно испугалась. Смотреть стали — к Хара-Кургену спускается. Поедем, говорю, скорее. Интересно...

Летчик, сдвинув на затылок шлем, подошел к Федору и Варе.

— А вы как сюда к ним? Случайно или, может, Губенков направил?

— И то и другое. Сперва ненароком... Длинная история. Не обошлось без Егора Кузьмича. А потом накрепко прибились...

Федор, посуровев, оглянулся на Зойкину могилку и крепко сжал локоть Вари.

— Ну и правильно. Я вот тоже привык тут... — летчик улыбнулся. — Впрямую породнился с ними. Жена — хакасса.

— Дедушка, — тормозил старика Сабис. — А хорошо тебе было там? Тебя этот орыс по небу катал?

Летчик подошел к нему, подтолкнул поближе к машине и, медленно подбирая слова, заговорил по-хакасски:

— Эх, оол, покатай бы тебя с твоей хыс...

— Чахты! — вырвалось у Сабиса, и он торжественно оглянулся на Марик.

— Да вот бензина маловато. Только до Минсуга добраться...

— А хоть посмотреть, что там, можно?

— Это можно! Только недолго.

I

...Когда Сабис спрыгнул с крыла, Хоортай спросил:

— Ну что, палам? Не хочешь ли седло Солового поменять на седло крылатого коня?

— Обязательно! — ответил за парня летчик. — Он уже мне сказал.

Хоортай разгладкл бороду, глянул на небо, где тянулись один за другим облака.

— Слышали, людей? Подрастет мой внук, станет небесные табуны пасти. До самой Москвы долетит... Ленин его увидит, подзовет: «Это твой дедушка к Хара-Кургену по небу прилетел?» — «Мой. И совсем, однако, не боялся!» — «Молодец Хоортай, — скажет Ленин. — А ты, Сабис, сам теперь такой машиной править умеешь. Первый из всех хакас-кизи!» Так он скажет. Москву тебе велит показать... Не веришь, палам? — Старик хитровато прищурился, глаза его почти совсем закрылись. — Не веришь? Вон спроси Улуг Педора!

И Хоортай нежно обнял внука.

